

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



СЛЁТКИ

РОМАН

Часть четвертая

ПОГИБЕЛЬ

1

Борис регулярно приезжал в учебные отпуска, и, в общем, они были похожи на первый его приезд, так что Глебка даже путался, вспоминая, когда и в какой раз происходили малозначительные события и звучали слова, сказанные старшим братом. Он становился всё взрослее, солиднее, разговаривал не суетясь, ровно, без интонации, как будто взвешивая слова. На старших курсах попал в какую-то объединенную спортивную команду военных, и его стали отпускать на тренировки и соревнования. Почти каждый раз он привозил домой блестящие кубки, на которых стояло его имя, и Глебушка подолгу любовался братовой славой. Только уж потом бабушка поставила кубки на самый верх буфета, откуда они светили, снисходительно и свысока поглядывая на бродившую, говорившую, учащую уроки и моющую посуду житейскую повседневность.

Глебка иногда ловил себя на тайной и даже слегка стыдной мысли, что прежняя жизнь, пока Боря учился в школе, была интереснее и полнее, ведь всякая подробность и чепуха были тогда важны, обсуждаемы, а главное, касались их обоих, превращаясь в общую братскую жизнь. Конечно, их разделяли длинные годы, разные классы, но все остальное-то было одинаковым — и улица, и бревнышки, на которых сиживала их компания, и грай ворон в

Окончание. Начало в № 2 за 2009 год.

старом барском парке. Теперь же Борик обретался в каких-то иных, отсюда не видимых пространствах, и улицы, и магазины у него были совсем иные, и сам город, не говоря уже про училище, из которого — через самую малость! — выйдет человек в лейтенантских погонах, командир, не хухры-мухры, человек совсем на другой лад перекроенный, потому что ему за своих солдат надо отвечать.

За все! За здоровье их, за то, как прилажено обмундирование, в каком порядке оружие. Ну и за всякие умения их — бегать, подтягиваться, метко стрелять, наконец, прыгать с парашютом, одним словом — воевать, если нужно.

То-то и оно. Если нужно. И выходило — нужно по нынешним временам, и даже очень, а самое неясное — со своими же воевать. Ведь там, где стреляют, взрывают, нападают, живут не чужие, наши же, хоть чернявые и говорят на непонятном языке.

Об этом Борик сказал как-то Глебке, и тот аж затуманился, забеспокоился. Вроде бы и знал он обо всем этом, сто раз слышал по телевизору, но прежде такие сообщения над ним высоко проходили, как далекие облака, и его лично не касались. А теперь... Ведь Борю туда запросто послать могут. Прикажут — и все! Не откажешься!

Медленно и как будто нехотя стал понимать Глебка разницу между тем, когда ты вольный человек и можешь отказаться от того, что тебе не нравится, и когда ты человек обязанный, вот как теперь Борик. Ведь он же присягу принял, и хоть внешне человек по-прежнему свободный, да только непременно должен двигать туда, куда прикажут, и сделать, что велют.

А потом совершилось выпускное Борино появление. Прибыл буквально на три дня — сияющий погонами с двумя маленькими звездочками.

Глебка тогда словно застыл, и Боря легонько тыкал его кулаком в бок, чтобы отошел братишка от своего молчаливого онемения, чтобы очнулся, наконец, чтобы понял: это просто время катится, и старший брат закончил училище, надо уезжать в часть по назначению, а перед тем ему еще стрелять на соревнованиях, и не каких-нибудь, а международных, и не где-нибудь, а в Берлине!

Но Глебку заполнил какой-то темный страх — неясное и вовсе недетское предчувствие, наверное, потому, что у Бори не было права остановить и переиначить свою жизнь так, чтобы не все приказы выполнял, не всему подчинялся и не за все отвечал.

Пожалуй, эти последние три Бориных отпускных дня, когда он сверкнул в городке звездами на погонах, голубым беретом и значком, изображавшим парашют, оставили в Глебке самый черный след.

Может быть, Дылда всему виной — она от Бориса не отходила. Вечером до дому его провожала, топталась на улице, ждала, когда он ненадолго забежал — но порог не переступала. Чего-то остерегалась, как ни звали ее Боря и даже бабушка Елена Макаровна.

Бледная, с гладко уложенными волосами, одетая, как сотни других девиц небогатого происхождения, высокая и худая, она гляделась совсем не под стать красивому Боре — он и ниже ее ростом, и моложе по возрасту.

Библиотекарша просто-таки стерегла его, а оттого не дала ему с Глебкой и вдвоем-то толком побыть, съела время, отведенное судьбой на братские разговоры.

2

И теперь время не шажками и часами двигалось, а днями скакало, неделями и еще — письмами. Бориными. От письма к письму шло время, хоть и мобильник у него был, как и у Глебушки, да денег хоть у того, хоть у другого на много не хватало или доставало в обрез. Раз десять всего и поговорили-то за все годы ученья. Борис пользовался мобилой где-то там, по своим делам, а Глеб просто ждал, когда брат сэкономит и наконец позвонит. А экономилось плохо. Телефон, майоров подарок, у Глебки молчал. Так что ждали писем.

Они и приходили, правда, не торопясь, не поспешая, да и не приносили никаких особенных новостей и даже адреса. Сначала он был, а потом почему-то исчез, остались только цифры: номер полевой почты.

Сперва письма эти занимали целую страницу, а то и поболее. Он писал всегда о чем-то постороннем, например, о соревнованиях по стрельбе, и Глебка этому внимал с радостью, но бабушка и особенно мама огорчались, что сын не пишет “про жизнь”, как они выражались.

Постепенно Глебка начинал понимать, как недостает чего-то важного в новых, с номерами полевой почты, письмах Борика. Он перестал писать о соревнованиях, а послания его стали заметно короче, строчек по пять-семь: мол, не волнуйтесь, несу службу в дальнем гарнизоне, все идет своим чередом. И больше половины в этих письмах приветы всем подряд — горевским друзьям, бабушке, маме, Глебке — какие еще приветы, ведь он им же сам писал! Странно. Как будто вообще это не им написано, а кем-то другим, но — нет, почерк-то Борин.

Однажды — дело было осенью, и Глеб это точно запомнил, — перед рассветом запиликал, нежно закурлыкал мобильный телефон, и младший с трудом проснулся, схватил его неверной со сна рукой, спросил шепотом, чтобы не разбудить маму и бабушку:

— Ты, Боря?

И услышал какой-то полустон, полупридыхание:

— Гле-ебка! Гле-ебка!..

Глеб вскочил на постели, стал кричать:

— Боря! Боря! Где ты? Что с тобой?

Мама и бабушка не просто проснулись, а вскочили, стояли — по-женски неприбранные, всклоченные, беспомощные, жалкие, с глазами, округленными ужасом.

Глебка в секунды понял, что должен поступить не как ребенок, а как-то совсем по-другому. Что даже простое колебание, даже повторение того, что он услышал, для женщин станет ударом.

Трясаясь всем телом, подавляя этот откуда-то прихлынувший в теплой избе озноб, он вдруг сказал не своим голосом:

— Да нет, это ошибка! Звонят тут ночью, людям спать не дают!

Бабушка и мама задвигались по избе, сначала механически, скованные и молчаливые, потом их постепенно отпустило, они завздохали, заговорили на свои хозяйственные женские темы, велел Глебке еще поспать — было ведь очень рано, где-то, наверное, половина шестого.

Он отвернулся к стене, натянул одеяло, и там, под одеялом, трясущимися пальцами набрал номер Борика.

Телефон сработал, послышались четкие длинные гудки, и вдруг — шумасшествие какое-то! — он услышал голос майора Хаджанова:

— Алё, — сказал тот, — говори, пожалуйста!

— Мне Борика, — громко прошептал Глебка, — дайте Борика!

— Ох-хо-хо! — вздохнул будто бы с сочувствием голос на другом краю мира. — Будет тебе твой Борис!

И телефон странно щелкнул. Нет, его не отключили — Глебке показалось, что по нему чем-то тяжелым стукнули: послышался шум, треск, какие-то дальние голоса. Потом все стихло.

Глеб лежал под одеялом, жадно вслушиваясь в умолкший телефон, прижимая его к уху. Потом снова набрал номер — красивый женский голос ответил, что абонент недоступен.

С тем же результатом набрал еще раз, еще и еще...

Его теперь всерьез трясло. Он был готов заплакать от бессилия. И еще ему требовалось кому-нибудь обо всем рассказать.

Но сказать маме и бабушке было невысказано — что с ними будет? Особенно с бабушкой? Да и мама не железная, а главное, что они смогут сделать? Куда звонить, к кому обращаться? Кто вообще должен что-то сказать в таком случае? Военкомат? Кто, кто?

Глебка вспомнил, что голос человека, ответившего ему, был похож на голос Хаджанова. Его подкинуло на постели. Он встал, принялся быстро

одеваться, на удивленные вопросы женщин ответил, что обещал, да забыл повстречаться с Хаджановым, который просил непременно зайти, — в общем, плел не шибко складно и довольно убого, спросив, как бы между прочим, маму, мол, верно ли, что Хаджанов теперь ночует не в тире, а в том некрасивом доме, который построили приезжие на месте голубого домика Яковлевны.

Мама подтвердила, хотя и неуверенно, заметив при этом, что Хаджанов ночует в разных похожих домах, их теперь немало в городке, и чуть ли не один он и есть хозяин всех этих сооружений — так поговаривают его санаторские завистники. Но чаще всего бывает майор вроде бы — да, тут, в этом основательном кирпичном замке.

Теперь Глебе надлежало взять себя в руки. Он поел, оделся, перебрал в сумке учебники — все ли взял, и, подарив старшим легкомысленный гудбай, вышел за дверь.

Хаджанова он нашел там, где и предполагал. На стук, конечно, выглянул не он, а тот самый мальчонка с угольными глазами, и когда Глебка позвал майора, на минуту задержал взгляд, хотел что-то спросить, но сдержался и притворил дверь.

Михаил Гордеевич возник буквально через полминуты. Торопясь, обгоняя собственные слова, Глебка рассказал про рассветный звонок, про неузнаваемый голос Бориса — но он же назвал Глебку по имени! — и потом про голос, похожий на хаджановский. Про звук, похожий на удар, и наставшее затем молчание.

Майор поднял голову к небу, воскликнул растерянно:

— О, Аллах!

Потом посмотрел на Глеба.

— Ты теперь видишь, что отвечал не я? — спросил он всерьез и встревоженно.

Глебка согласно моргнул.

— Ну, а где он, где? — майор нетерпеливо кивал головой.

— Как — где? В армии.

— Но где в армии? На какой территории? Чем занят?

Глеб рассказал, что письма приходят с номером полевой почты, и все. Боря никогда не писал, где находится.

— О, Аллах! — опять повторил Хаджанов.

Теперь он не сводил глаз с младшего. Предложил:

— Давай к девяти пойдем в военкомат, скажем про звонок. Они сделают запрос. Но это по почте, сколько он пройдет туда да обратно! Целую вечность!

Он помолчал.

— Нет, надо что-то другое придумать. Может, телеграмму дать? Прямо командиру этой части?

Потом сел на скамеечку возле дома. Помолчал, повздыхал и вдруг сказал вслух, но явно — самому себе:

— Неужели я научил его на грех ему?

Глеб не понял сначала, спросил:

— Чему научил?

— Стрельбе!

— А почему на грех?

— Да уж так! — ответил Хаджанов. И повернулся к Глебу: — Неужели непонятно?

— Непонятно, — пробормотал Глеб.

Хаджанов долго разглядывал брата своего ученика. Будто чему-то про себя удивлялся. Покивал головой, с чем-то соглашаясь, потом заметил:

— Хорошо, что ты за ним не пошел... Упорство, видно, не всегда похвально.

Помолчав, вздохнул:

— Нет, что ни говори, на все воля Аллаха.

Поглядел на Глеба совсем всерьез:

— По-вашему, от Бога.

Он велел Глебу подождать, вышел одетый, подтянутый, с неизменным белозубым оскалом. Сперва они прошли на почту, где Глеб своей рукой написал текст телеграммы командиру части — полевая почта такая-то. К девяти, вместо школы и санатория, оба явились к райвоенкому, который с порога им заулыбался, ведь Борис был их общей великой гордостью, но по мере рассказа угасал, опускал глаза и смурнел еще больше, а в конце встречи пообещал не написать, а позвонить куда надо по оперативным каналам связи, завершив разговор обнадеживающим вопросом:

— А может, это все-таки телефонная ошибка? Мало ли их? Но я позволю, позволю непременно.

Хаджанов радостно раскланялся. Они вышли. На пороге военкомата растались. Глебка был совершенно разбит, но на душе стало куда легче. Он убедил себя, что вся эта череда поступков была нужна, и вовсе не страшно, если даже произошел казус — кто-то ошибся номером.

Майор же улыбался, внешне был всем доволен. Договорились на прощанье, что при первом же известии они друг друга оповестят немедленно, минуя при этом бабушку и маму. Пусть живут спокойно! И Хаджанов как-то необычно пожал руку Глеба: крепко и доверительно, будто они в какой-то сговор вступили.

В тот же день почта доставила Борино письмо. Короткое, с теми же странными приветами, и оно опять все переменяло. И хоть мама, так ничего и не заметив, снова проворчала, что Боря опять ничего не написал “про жизнь”, Глеб не ответил ей, только повторил про себя:

— Написал, написал!

Как раз про жизнь и написал! Если пишет, значит, жив и все в порядке, и утренний звонок просто обманка чужих голосов: ведь какие миллиарды звонков происходят в атмосфере! Да верещат компьютеры, несчетные чипы управляют адресами и номерами, но есть же и процент сбоя, ошибок и наваждений — ведь послышался же ему на том конце провода голос Хаджанова, хотя тот спал в своей постели совсем неподалеку.

Конечно, Глебка сразу сообразил, что письмо отослано давно, и пока тащится по дороге пару недель, будто на старой кляче его везут, всякое может произойти, а то, что утром услышал он по телефону, произошло, как нынче толкуют, “в режиме реального времени”, сию, значит, секунду! Письма же в реальном времени не живут, они всегда во времени прошедшем, минувшем, уже отлетевшем. Но вот письмо пришло, и совершилось чудо — реальное время, теперь доступное всякому даже не очень просвещенному уму, все же отступило куда-то в тень, а письмо помогло скинуть, точно рюкзак, тяжелейший груз с мальчишеских плеч, одарило надеждой.

Но потом пришло еще одно письмо от Бориса — такое же забавное, с приветами, и оттого веселое. И еще одно. И еще.

Глеб встретил на улице дядю Марину, которая заулыбалась ему, увидев издали, прибавила шаг и сказала, понизив голос, что получила от Бори письмо, в котором он сообщил ей, будто представлен к государственной награде!

С Глебкиных плеч тяжкий груз свалился окончательно. Он заулыбался ей в ответ и даже пожал руку, примиряясь со странной симпатией своего старшего брата.

3

К тому времени относится еще одно событие, ставшее, в конце концов, для семьи Горевых, и особенно для Глеба, не то чтобы важным, а просто необходимым.

Одно дело когда компьютер, даже подсоединенный к интернету, в школьном кабинете — сколько там ни сиди, а все равно ты не дома, а будто на почте, пришел в переговорный пункт позвонить по телефону. Вот бы персональный, собственный, домашний!

Мама отмахивалась: ты что, откуда такие деньжищи? А бабушка и вовсе не понимала, про что речь. Но вдруг однажды, вернувшись из своего санатория, мама весело спросила Глебку:

— А если компьютер старый — согласен? Списанный. Но работает. У нас в бухгалтерии всю эту технику меняют, и можно списанное по дешевке купить.

— Ура-а-а! — завопил Глебка в восторге.

На другой же день он примчался после уроков к маме, они пошли в бухгалтерию — там стояли маленькие дисплеи, но все журчало и скворчало, как надо. Маме это имущество согласились продать по доступной цене. Глеб с трепещущим сердцем подарок принял.

После школы отныне, ускоряя свой бег, неся он к своему любимому другу, который, словно окно, распахнутое в мир, мог поведать обо всем, чего только душа желала. Затаив дыхание, Глеб бродил по лабиринтам интернета, получая новые, параллельные школьным, знания о делах вовсе не школьных.

Как-то напоролся даже на порнуху и полдня просидел перед экраном, ощущая внезапную и гадливую потливость на лопатках, в паху и даже под коленками. Потом решительно отрубился от этой гадости, просидел перед выключенным компьютером, закрыв глаза.

Был он уже в седьмом классе, казалось бы, самое время девчонок разглядывать, но они еще не представлялись ему существами, заслуживающими его внимания. То ли все одноклассницы собрались как на подбор несимпатичные — круглолицые, курносые, веснушчатые, то ли попривыкли все друг к другу за семь-то лет, но, думая о знакомых девчонках, да хоть и из других классов, видел их Глебка совершенно одинаковыми, будто грибы опята. Даже порнуху, найденную по интернету, он с девчонками из своей школы не соединял — там, на экране дисплея, был совсем иной мир и другие персонажи, вызывающие лишь ужас, смутное волнение и гадливость.

Глеб будто воспитывал свою волю, быстро выключая мерзкие картинки. Тогда они стали являться ему во сне, и мама как-то заметила поутру, что сын всю ночь маялся и колотился, вроде как повстречался ему в потустороннем царстве зловный змей. Глебка про себя усмехнулся: не змей, а змеюга!

И снова после школы садился за компьютер, опять, как назло, натываясь на мерзкие сайты, дорожки к которым нащупывала его неверная рука, и снова он закалял свою волю, вырубая гадкие видения.

4

Вот в такой-то момент, совсем-совсем не подходящий, когда человек грешен, а значит, слаб, в дверь постучали.

Глебка и подняться не успел, как вошли военком и еще какой-то человек в погонах, немолодой, усатый, тихий, с опущенными глазами, а за ними Хаджанов. Маме к тому часу пора было вернуться с работы, и она бы уже с полчаса могла хлопотать с бабушкой по дому, но сегодня отчего-то задерживалась, и вместо нее перед мужчинами выступила бабушка. Поднялся и Глеб.

Сняв офицерскую фуражку, военком посмотрел куда-то в угол, поверг всех, и проговорил:

— Мы принесли горькое известие. Ваш сын, — он поправился, глянув на бабушку, — ваш внук... и брат Горев Борис Матвеевич погиб смертью храбрых, выполняя воинский долг.

Глебка потряс головой, ему показалось, что он ослышался, прошептал только:

— Как — погиб?

И бросился тут же вперед, потому что бабушка стала оседать. Не падать, а именно оседать, как-то проваливаться, будто пол под ногами исчез.

Он опоздал, а подхватили бабушку мужчины, отнесли ее на кровать, а Глебка суетился, подавая ей воду, и будто бы откладывал на потом сообщение военкома. Но, подав воды, тоже сел на пол, где стоял. И закричал. Во весь голос.

Точно только теперь до него дошли слова военкома. Бори нет!

Он протяжно крикнул, зовя на помощь:

— Ма-ама!

Потом ввели маму. Два человека в белых халатах держали ее под руки, и она оседала, проваливалась, как бабушка, и ей подносили к лицу какую-то пахучую ватку.

Глебка только и взглянул на нее, как понял, что это все правда: мамино лицо было белым, как простыня, а под глазами большие синие полукружья.

Теперь умирала она, и Глебка, поняв это, пополз ей навстречу, выкрикивая:

— Ма-ама! Бо-оря! Ма-ама! Бо-оря!

Наверное, только через час криков, слез и нашатырных примочек поняли они, что Боря уже здесь, что груз-200, которым он прибыл, находится в Краснополянке, в той самой часовенке, бывшем барском складе, где теперь — до скорой поры — хранятся тела усопших.

5

Первый раз Глебка очутился внутри часовни. Сколько раз пробежал мимо, проходил, разглядывая людей, собравшихся на прощанья, слушал духовой оркестр с его не очень складной, нетвердой музыкой — как и сами музыканты, не дотерпевшие до поминок, но внутри не был никогда.

Где-то рядом стояли горевские мальчишки, теперь молодые парни, почти мужики, все до одного, конечно, Хаджанов, хотя он и другой веры, и мамини с бабушкой подруги и знакомки, и даже военком, потому что Борик погиб именно “при исполнении”.

Мама и бабушка стояли с трудом, опять пахло нашатырем, и даже “скорая” дежурила возле часовенки — боялись, как бы опять не стало кому худо. Но ведь худо может быть при всяких проводах, а “скорую” пригнали по чьему-то приказу, потому что прощание было государственным — за счет казны и при участии власти: погиб боевой офицер.

И речь военком произнес вполне официальную, набор казенных слов, где было и про воинский долг, и про “смертью храбрых”. Выступил директор школы, и Глебка ёжился, слушая его. Был это худой человек, очень молодой, во всяком случае, моложавый, не намного старше Борика, но самое главное, прислали его в школу с год назад и Борю он совершенно не знал — подсказали, наверное, старые учителя, что был-де такой выпускник, увлекался стрелковым спортом, пошел в военное училище и погиб. Много ли из этого выжмешь, если ни разу человека не видел? Директор мучился, потел, говорил косноязычно и пусто.

Глебке было худо, очень худо. И не мог бы он сказать, отчего ему хуже — от этих слов, никчемных и казенных, или оттого, что гроб был запаян и его запретили открыть.

Одно это знание валило с ног, теснило сердце, закладывало уши. Значит, значит... Дальше не хотелось думать, не то что говорить.

Священник ходил с кадилом, навевало легким дымком, совсем не похожим на запахи их мальчишечьих костерков. И тут сквозь вату и сквозь туман Глебка услышал фразу священника о невинных страстотерпцах Борисе и Глебе.

Он даже вздрогнул, услышав свое имя. Будто кто-то ударил его. Имя Бориса и должно здесь слышаться, ведь с ним прощались. Но он-то?

Глебка тут же укорил себя за этот промельк непонятного страха — что это было? Но отогнать его не смог. Хотя знал — Борис и Глеб страстотерпцы, братья, и погибли по одной предательской воле. Снова застрашился: значит, сбывается. Значит, если погиб Борис, то следующий и он...

Еще раз помянул священник святых Бориса и Глеба, попросил остаться для последнего прощанья самых близких, и когда они остались — мама опять стала просить открыть гроб, и когда ей вновь отказали, повалилась на колени, царапая его кроваво-красную обивку.

Люди только рождаются каждый по-своему, а хоронят их одинаково. Могильщики роют яму, родня бросает первые горсти земли, а затем, всегда одинаково торопясь, деловитые кладбищенские работники заваливают яму землей.

Потом Хаджанов скажет Глебке, что должны были отдать Борису воинский салют, но комендантская команда расположена в большом городе, и гнать с ней автобус в Краснополянск было признано нецелесообразным.

Глебка возненавидел это слово.

Не было у него раньше никаких отношений с разными там словами, даже бранными. Слышал, и все! Сказал и утерся! А это возненавидел.

6

Как же тяжело они выбирались из этого омута — мама, бабушка и Глеб. Выплыть наверх, вновь глотнуть воздуха жизни — для этого следовало грести, выбираться, что-то такое делать, чтобы одолеть беду. Но она никак не одолевалась.

Мама взяла больничный, и к ней приходили почти все санаторские специалисты — кроме, может, стоматолога. И кровь у нее брали, и капельницы дома ставили. Предлагали путевку в другой санаторий, подальше от Краснополянска, чтобы успокоилась, отошла, но она отказалась, кивая на бабушку и Глебку: “Как я их брошу!”

Бабушка держалась, постукивала, позвякивала за печкой, готовила еду, а потом вдруг затихала, затем всхлипывала, заходила плачем, и мама со своей кровати успокаивала ее как могла. Потом они менялись местами, взывала мама, и бабушка ползла к ней утешить.

Глебка тоже к ним присоединился. Плакали втроем, навзрыд, не стесняясь друг друга — чего было стесняться-то?

Едва оклемавшись, мама вышла на работу. Глебка же вообще пропустил только два дня — похоронный и тот, что следовал за ним. Хочешь — не хочешь, это подтянуло, помогло.

Но — нет, оказалось, не помогло. Просто такая временная терапия. Учитель объясняет новый материал, потом спрашивает, ребята о чем-то говорят, ясно, что отвлекают — и Глебка шел на этот манок, играл в настольный теннис, перекидывал шарики слов, но вдруг какая-то сила хватала его за горло, сжимала изо всех сил, и он, почти задыхаясь, бежал в туалет, открывал кран с холодной водой и глотал невкусную, начиненную хлоркой воду, почти захлебываясь, смывая ею свои жгучие слезы.

Такие приступы, почти припадки, случались с ним и на улице. Однажды он шел мимо барского парка, и вдруг откуда-то из-за дальних завес памяти вырвалась яркая, будто в кино, картинка: Борик в белой навыпуск рубахе с распахнутым воротом скачет лошадкой по извилистой корявой тропке там, за кованым старым забором, а он, Глебка, вцепился в его плечи, в рубаху, и Борик ржет, кричит “иго-го”, и Глебка смеется, ничего больше, просто смеется!

Ему года три, от силы — четыре, разве помнит себя человек в три года, ясное дело — нет, но вот вырвалась же из-за кулис времени эта картинка, значит, помнит! И смех того безоблачного счастья сам собой сорвался в рев, в слезы, в горькое понимание — это не только не повторится, но даже сама память об этом должна умереть, споткнувшись о знание, что лошадка выросла и погибла.

Глебка прижался к забору с ржавой железной вязью, прибился к кирпичному, красному, осыпавшемуся столбу и плакал навзрыд, и тогда кто-то тронул его за плечо.

Он вздрогнул, обернулся, увидел незнакомого старика. Одет тот был точно нищий — в замурзанную ветхую телогрейку, какие-то серо-буро-малиновые штаны, в кирзовые сапоги, которых никто уже не носит даже в самой непутевой деревне. Как будто человек этот вышел не из-за угла, а вообще из другого времени, может быть, даже из далекодальной войны, про которую показывают кино по телеку. А глаза у него были светло-голубые, совсем молодые, мальчишечьи и глядели на Глебку весело, даже восторженно, точно этот старик неожиданно встретил вдруг сына своего или внука. Но сказал старик совсем не совпадающее с выражением своего лица, хотя и успокаивал:

— Ты, сынок, не горюй. Еще не такое испытать придется.

Потом, все так же радостно улыбаясь, проговорил:

— Ты о другом думай. За что будешь в своей жизни. За кого. Кого любить станешь. Кого жалеть. Почему.

Был ноябрь, землю укрывал затоптанный грязный снег. А на старике не было шапки. Легкий ветерок слабо шевелил его редкие белые и короткие волосы — этакий легкий пушок.

Глебка подумал, что этот дедушка на кого-то очень похож, где-то он его видел. Но вспомнить не мог. Он подумал еще, что дедушкины слова довольно безрадостны, и почему же тогда он так весело улыбается.

Старик повернулся и пошел своей дорогой. Глебка подумал, ведь ему без шапки-то холодно.

— Нет, — ответил старик, будто услышал Глебкин вопрос. И прибавил: — А брат твой жив, понял?

Глебка бессильно поник в своем углу — между кованой решеткой и старинным столбом.

— Потому и улыбаюсь! — повисил голос старик, не оборачиваясь

И развел руками, удивляясь, как не поймет малец такого простого.

Глеб опустил голову — всего-то на какое-то мгновение, а когда поднял, дедушки уже не было, хотя до поворота тут было еще метров пятьдесят, не меньше.

Он вскочил и побежал вдогонку. За углом тоже никого не было. И никаких следов на снегу.

Впрочем, снег был лежалый. Ничьих следов не разберешь.

7

Сначала Глебка просто не мог прийти в себя. Постоял на углу, помотал головой, потом пробежал еще квартал, вправо — может, дедушка как-нибудь быстро прошел. Никого не было.

Вернулся домой, хотел сразу рассказать бабушке про радостного старика и про то, что он сказал о Боре, но передумал. Как-то получалось несерьезно, что ли... Ведь если уж на то пошло, Глебка должен был того дедушку расспросить как следует, узнать, откуда у него такие сведения, а он молчал, только слушал, как будто загнипнотизированный, и все.

Да может, ему старик этот просто примлился? Бывает же с людьми и не такое.

Глебка уж и себе не верил — да было ли это вообще? Поначалу он ходил по городу, привередливо вглядываясь в каждого старика. Однажды даже вроде как в розыск пустился — после школы, не снимая ранца, стал заходить всюду, где народу побольше, — в магазины, в сбербанк, на почту. Расспрашивал и близкую ребятню — не встречали ли, мол, такого-то и такого? Никто не встречал. Только тогда Глеб, вовсе и не собираясь этого делать, как-то вдруг, будто кем-то подталкиваемый, рассказал про старика бабушке. Прямо там, у нее в кухонном закутке. Бабушка перестала кашеварить, выключила все конфорки и уставилась на Глебку. Потом глаза ее наполнились слезами. Отирая их тыльной стороной ладони, она бормотала:

— Не может быть! Не может быть!

— Так что ты думаешь? — допытывался Глебка. — Куда он подевался, а?

— Куда, куда! — невнятно отвечала она. — Туда же, откуда явился.

— А явился откуда?

Она махнула рукой, отвернулась, затряслась, спросила — то ли Глебку, то ли себя, то ли неведомо кого:

— Но как же жив-то? Ведь схоронили!

Это она говорила про Борика, и Глебка тысячу раз это же спрашивал — как же жив-то, если... И сам он, Глебка, бросил в могилу пригоршню земли?

В общем, рассказал он бабушке про старика с веселыми глазами, но легче не стало. Ничего, кроме бабушкиных слез, округлившихся глаз, испуга, недоумения. Но такого и у него самого было — хоть отбавляй.

Еще одна забавная мелочь в тот день ему показалась. Выйдя из кухонного закутка, Глебка меланхолично, все еще думая о загадочном старике, подошел к старому их зеркалу в полный рост, которое бабушка звала странным словом “трюмо”, и погляделся в него. Он, конечно, и раньше в зеркало смотрелся, особенно когда собирался на утренник в школе, потом — на вечер, и зеркало исправно отражало сначала ребенка, потом отрока, как сейчас. Ничего особенного — зеркало как зеркало, и мальчишка как мальчишка — отражается в стекле, да и только.

Но тут произошло нечто странное. Может быть, первый раз в своей жизни Глебка не просто глянул в зеркало, поправляя челку или осматривая пижамачишко, а взгляделся в собственное лицо.

Он даже отшатнулся: мальчишка, который смотрел на него из зеркала, был страшно похож на старика, возникшего неведь откуда. Только мальчишка не улыбался и был мальчишкой, а не стариком. Но черты лица, но глаза, нос, уши — были один в один.

Будто на Глебку смотрел Глебка же, который, постаревши, без труда может стать дедом, встреченным у барского парка.

Он поморгал глазами, но ничего не менялось. Были они поразительно похожи — мальчик и старик.

Глебка чертыхнулся, помолчал и отправился к крану, чтобы сполоснуть разгоряченную голову: примлитесь же такое, ей-Богу!

8

Прогнал ли он из своего сознания это событие? И да, и нет.

Да — потому что и правда всё это походило на какое-то видение. Ведь Борис лежал неподалеку, на кладбище. Когда Глебка приходил — один или со старшими, он всегда чувствовал себя в каком-то полусне. Разглядывая фотографию брата на красной, хотя и без звездочки, тумбе, понимал, что это и есть правда, а странная встреча — что-то совсем другое, непонятное.

Несколько раз с ним увязывалась братовня — Петя, Федя и Ефим или Аксель, давно вышедший за пределы акселерации, или Витька Головастик, здоровый теперь бугай. Стояли молча, вздыхали, произносили пустые междометия — “ох” да “ах”, хлопали Глебку по спине или плечам — выражали сочувствие. Вышивали.

Чем дальше убегало время, тем больше Глеб раздражался этим сочувствием. Поначалу стала слышаться в этих словах и жестах какая-то обязательность, потом — не то чтобы неискренность, нет, а какая-то сухость, даже усталость от этой обязательности — непременно идти сюда, печалиться и делать скорбный вид.

Вот что стал чувствовать Глебка: они делают вид, эти разлюбезные дружки! А что: жизнь сделала необратимый поворот, Борика уже нет, горько, но что делать, все там будем — и горе под такие вот приговорки превращается сперва в печальный ритуал поклонения, а потом и вовсе осыпается, как пересохла штукатурка, оставляя лишь арматуру — железные прутья, скелет жизни. Но как же он безобразен!

И как же причудливо, как неожиданно жизнь меняет, переставляет свои акценты! Вот близкие тебе твои детские друзья, кажется, на всю жизнь, но потом они подрастают, становятся другими. И встретив милого своего дружка подростком, да поговорив с ним, да выпив пивка, да побродив по улице, ты вдруг понимаешь, что вы стали друг другу почти чужими, и все, что соединяло вас, расклеилось, рассыпалось, и говорить вам нынче, как в прежнюю пору, не о чем. Вы прощаетесь, улыбаетесь, говорите совершенно неискренние слова о будущих встречах, но вовсе не нуждаетесь в них...

Так прощаются с детством, и почти всегда прощание это стыдливо-торопливое, как будто ты черпал-черпал кружкой из ведра, пил-пил, и вдруг эта кружка твоя о дно забренчала: кончилась спасительная влага, пересохла дружба, а с ней и память, и чувство, и что-то твое личное, дорогое, без чего, раньше казалось, невозможно обойтись.

Нет, можно, да осторожно, не зря есть поговорка: один старый друг лучше новых двух. И вообще! Чтобы дружба не пересохла, не вылилась вся до дна, из ведерка-то не только черпать надо, в него еще следует подливать! Но — чего?

Памяти и правда не прибавишь, она если и не иссякает, то усыхает, скукоживается, мельчает. Не убывают только чувства, общие интересы, искренность. Если все осталось только в прошлом — грош цена этой памяти. Дружба пополняется новыми чувствами подрастающих людей, хотя и давних уже приятелей.

Но Глебка еще не понимал этого, хотя остро чувствовал. Да и силенок не было. Все ушли в горе, в боль, в неутешное страдание. Оттого так пронзительно ощущал он усталую обязательность и наступающую отчужденность прежних дружков, выросших в мужиков.

Зато как же удивительно открылась Марина!

Они никогда и не о чем с ней не сговаривались, но он часто видел ее на кладбище. Сильно переменялась Дылда! Из нагловатой и развязной когда-то, еще в школе, из заискивающей, когда погуливали они с Бориком, теперь она превратилась в какую-то тусклую полунисицу деваху. Конечно, в библиотеке золотых гор не заработаешь, но пристойно одеваться все-таки можно! Однако, и Глебка это понял, дело тут было совсем в другом. Ей, похоже, не только о пристойной одежде, но и о жизни-то собственной думать не хотелось. Он заставлял ее на коленях перед Бориной пирамидкой, в снегу, в новых чулках, со склоненной головой, растрепанной, скорбной. Всегда молчаливой.

Она не плакала, даже не выговаривалась, когда подходил Глебка, просто без всякого удивления поворачивалась к нему. Иногда он все же видел слезы, размазанные по щекам торопливо, но чаще Марина смотрела вперед сухим и каким-то жарким взглядом — сквозь Борин портрет, сквозь пирамидку, сквозь снег и сквозь все это печальное полусельское кладбище в какой-то иной мир, в другое, зримое только ей пространство.

Они могли разойтись прямо там, на кладбище, не сказав друг другу ни слова, когда Марина, кивнув, отходила от могилы, точно передавала свое дежурство брату покойного. Бывало и наоборот — и Глебка очень скоро ощутил, как их с Мариной, даже без всяких слов, связывают какие-то новые отношения — они любили и горевали о смерти самого дорогого каждому из них человека. И этот человек оказался для них общим.

Глебке как-то по-взрослому однажды подумалось, что при живом Борике он волей-неволей испытывал бы к Марине ревность — подобие такого чувства он пережил, когда Борик приезжал в отпуска, и Марина терлась возле их дома. Тогда он не верил ей, а теперь не верить было нельзя. Борик, погибнув, странным образом соединил их любовью к себе.

Вот ведь как получалось! Старые дружки отдалялись, не столько от Глебки, сколько от Бори. А Марину и Глебку сближало, роднило — и чем дальше, тем горячее — горькое чувство потери.

Искренние чувства слитны в силе своей и власти. Встречая Марину на кладбище, Глебка даже радовался ее непрезентабельному виду, одобрял его, и хотя никогда ей не улыбнулся, а разговаривая, обходились они словами самыми необходимыми, — чувствовал он какую-то особую к ней близость.

Раз-другой он встретил ее на улице и понял, что Марина нетрезвая. Она было отшатнулась, но Глебка как-то так, наверное, посмотрел на нее, что Марина просто опустила голову, видать, успокоилась, и прошла мимо.

Случись это прежде, он бы ее осудил, глядишь, кому и рассказал, даже Борик, а теперь не просто посочувствовал, а даже порадовался, подумав, что, будь он чуток постарше, они бы с Мариной выпили на пару.

Может, еще и выпьют.

9

Глебка иногда ловил себя на мысли, что жизнь его остановилась.

Школьное существование совершенно не задевало. Он с одинаковым равнодушием получал двойки и пятерки, с ребятами говорил неохотно, ско-

ро изнемогая от общения с ними, а при случайных встречах на улице с самыми когда-то близкими корешками торопился поскорее отделаться набором общих слов.

Он отплывал куда-то.

Ему нравилось ходить одному по улицам городка. Поначалу он искал встречи со стариком, похожим на себя, но потом привык шататься просто так, без цели и думы. Он выбирался и в места памятные — на поляну перед речкой, где они жгли костры, в заросли, где ловили соловья, в рощу, где когда-то плакала корова, переполненная молоком. Но тщательно избегал маминого санатория, возле которого был проклятый тир. Какое-то смутное ощущение тревоги наваливалось на него всякий раз, когда он вспоминал про хаджановский этот оазис. Ведь здесь началась не только Борина слава, но и погибель. Отсюда она пошла. И зачем только ему понадобилось военное училище и все это поспешное избавление от жизни. От жизни!

Эта мысль не была точной, до конца ясной. Она клубилась в тумане, но кое-что было очевидно. Вон ведь до глубокой старости дожил военный человек полковник Скворушкин, да и майор Хаджанов ничего себе поживает, что-то все время шурудит, на какие-то неизвестные — и ведь немалые! — деньги строит дом за домом для своих земляков, ими командует, что-то мастерит, лепит незримое простому взгляду... Хаджанов был Бориным наставником, внешне искренним и радушным, но Глебка отчего-то не очень верил ему. Точнее, верил лишь наполовину, а может, даже на треть. Сердцем чуял Глебка: есть у майора нечто, тщательно скрываемое не только от него, мальчишки, но и от взрослых, и даже, наверное, от своих земляков, для которых строит дом за домом. Сквозила в его улыбчивости какая-то чужая зыбкость.

Набродившись, поучив уроки, Глебка сел за компьютер. Он налетал на разные суждения в этом интернете — были язвительные, например, о прочитанных книгах или увиденных фильмах, были благостные, будто люди живут не на земле, а в раю, а были и злобные — из тех, что любят чужое белье вытащить на всеобщее обозрение. Ни то, ни другое ему не нравилось. Он искал чего-нибудь спокойного, даже тревожного.

Однажды, уже перед сном, по телевизору показали, как во Франции, где-то возле тамошней столицы, арабские мальчишки вместе с какими-то отвязанными парнями постарше пожгли враз сотни автомобилей. Репортеры упивались сценами насилия, видать, их бензиновый огонь подогревал, а может, страх. Говорили возбужденно, даже кричали о том, что это все сделали мигранты, которых в Париже полно, им мало платят, да и работы у многих нет, и с пенсиями у них не выяснено — в общем, эти люди, не белые цветом кожи, своего требуют.

— Охо! — вздыхала бабушка, — Вон как себя защищают, кабы наши-то хоть голос свой подали, хоть одну богатую машину спалили!

— Что ты говоришь! — окорачивала мама. — Молиться надо, что у нас такого пока нет. А то ведь так жечь начнут, что и нас заодно изведут! В хибарке нашей!

— Не-ет! — спорила бабушка. — Мужик расейский смирный. Если чего не по нему, дак напьется и мирно уснет. Разве что бабенок своих поколотит. Вот и вся смута.

— И слава Богу! — восклицала мама.

— Да ты погляди! — не соглашалась Елена Макаровна. — Они-то там все смуглые — вишь! Все приезжие! А требуют! Все им должны! Мы же тут веками живем, но ничего потребовать не можем!

— О чем ты, мама?

— Да ты оглянись вокруг! Их и у нас вон сколь уже понаехало! Того и гляди, затребуют. Может, уж и нам пора, а?

Бабушка елозила на лавке, плечами двигала, не понимала:

— Да я-то уж что? А все мы? Как живем? В какую радость? Вон и Бориска-то — за что, за какую такую Россию жизнь положил?

Женщины засморкались, заплакали, а мама кивнула на экран:

— У нас все это хулиганством закончится, гляди вон, никакой уж управы на бандитов нет.

На экране теперь понуро стояли бритые русские парни, арестованные милиционерами, а репортер прямо приплясывал на переднем плане, обругивая их и называя по-иностранному скинхедами.

Глебка, подсев к компьютеру, набрал в “Яндексе” это словечко, значение которого он толком не знал. Оказывается, что приплыли эти скинхеды из Англии. Этаким коктейль из бритых голов, из музыки “Ой!”, могучих ботинок, подтяжек — и из политики. Они гордились, сообщал интернет, что принадлежат к рабочему классу.

В общем, информация требовала образования, потому что про музыку “Ой!” Глебка и слыхом не слыхивал, а при словах о рабочем классе вообще начинал соображать с трудом, потому что никто им в школе, например, про это не растолковывал, и как-то заранее эти слова отшибали нутро.

Глебка подумал про себя, про маму и бабушку: а мы-то кто? Бабушка из крестьянок, мама массажистка, значит, медик. Борик был военным, а он вообще никто — простой ученик. В общем, никакие они не рабочие, а просто, может быть, работники. Вот Аксель — да. Он на этом заводе вкалывает, сборщик знаменитых автоматов. А все остальные к рабочему классу не относятся — ни братья, вышедшие из торгашей, ни Хаджанов, ни Марина.

Где он, этот рабочий класс, в их рабочем городке? И какие тут у них скинхеды?

Глебка усмехнулся, словно в зеркало на себя глянул: ишь ты, как зарасуждал! Наверное, потому, что книг много прочитался.

Ему казалось иногда, что зря тратит время на это чтение. Однако, перебравшись во взрослую библиотеку, куда когда-то приходил с Бориком искать знания про соловья и где Марина работала, он понял, что ему стало одолевать все это гораздо легче. Он уже знал многие взрослые и даже казенные выражения, не говоря про важные слова и их смысл. Например, ясно знал, что такое фашизм. И антифашизм. И знал, что означает слово расизм.

Знать-то знал, но и только. Все это было где-то далеко от их Краснополянска. Даже от их главного города и, может быть, от всей России — какой у нас фашизм и антифашизм? Какой расизм?

Разыскивая сведения о скинхедах в интернете, он усмехался их детским слабостям — они, оказывается, имели свой стиль одежды “boots and braces”, что переводится как “ботинки и подтяжки”. Тут же вычитал, что форма эта постепенно менялась. В моде стали, кроме подтяжек, армейские брюки, ботинки Dr. Marten’s, куртки Harrington, костюмы из переливающейся на свету мохеровой ткани — Tonic suits. Но главный шик — короткая прическа с выбритым пробором.

Он представлял себя хоть и не в чудных этих одеждах, то хотя бы с пробритым пробором, даже попробовал нарисовать некую отвлеченную голову с белой полоской, подошел к зеркалу, поглядел на себя, да ничего не выглядел — в ответ ему смотрел худой, обросший космами серенький чувачок.

10

На другой же день, после школы, он отправился в парикмахерскую, чтобы постричься.

Нет, все-таки и в Краснополянке жизнь обладала новой, невиданной прежде энергией, и сюда добралась всякая дрянь, которой славились большие города. Во-первых, с него содрали аж три сотни, в переводе почти десять баксов за стрижку, нарисованную им карандашом на листочке бумаги. Единственное, что долго смущало парикмахера — прыщавого, длинноносого парня, который изо всех сил старался быть старше своего возраста, — есть ли у клиента такие деньги.

Без долгих слов долговязый превратил мочалку, вовсе не украшавшую Глебкину голову, в совершенно стильный ёжик, и пробор выбрил по всем правилам, которые виделась клиенту.

Расстались они без всяких симпатий, чувствований и благодарностей — один стряхнул салфетку, второй сунул деньги, и все — но Глебкино настро-

ение резко подскочило вверх, и он поначалу двинулся по улице, не надевая шапку — ходят же простоголовыми взрослые, независимые мужчины.

Он так себя и чувствовал — пусть не мужчиной, так взрослым парнем, со своей целью жизни, собственными взглядами на все и всех, человеком, навсегда вышедшим из детства, и если во взрослость, допустим, еще не вошедшим, то это вовсе не беда. Еще чуть-чуть, еще год, полгода, месяц, а может, даже один только навсего квартал — простой городской квартал — и вся жизнь твоя переменится, станет взрослой, без дураков.

Так оно и вышло.

Глебка навсегда запомнил последний миг своего детства. Он проходил мимо старого одноэтажного дома, превращенного теперь в магазин с широкими зеркальными окнами, и смотрел на себя, отраженного. Мальчик, почти юноша, с лицом, на котором — не хочешь, да увидишь — настоящее достоинство. Человек, знающий себе цену. Всё.

Дальше его жизнь решительно переменилась.

Из-за угла вышла Марина. Платок, накинутый на голову, съехал на затылок, волосы растрепаны, из тонкого пальтеца высунулись большие кисти. Конечно, она нетрезва, хотя и не очень пьяна, скорее всего, не пришла в себя после предыдущей выпивки, но вчерашняя она была или сегодняшняя, с утра сказать трудно.

Увидев Глебку, она не отвернулась, как прежде, не спрятала глаза, напротив, уставилась на него, чем-то явно пораженная, и осторожно как-то, во всяком случае, негромко, воскликнула:

— О!

Будто увидела первый раз.

Глебка кивнул ей, сказал: “Здравствуй”. Без всякого восклицательного знака в конце. Повествовательно так сказал, просто проговорил это слово.

Они стояли некоторое время вот так на углу, и никого вокруг не было, ни единой души. Потом Дылда сказала тихо:

— Проводи меня. Мне плохо.

Как это надо ее провожать, Глебка представления не имел, и оторопь слегка к нему прикоснулась. Но он еще был под впечатлением своего отражения — в зеркальной витрине — совсем уже не сопливый мальчишка!

Он повернулся и пошел рядом с Мариной. Она двигалась довольно резко, казалось, даже торопится, раза два поскользнулась, оба раза схватив рукой Глебку — то за руку, то за плечо, и ему показалось, что это она нарочно поскользывается, чтобы ухватиться за него.

Но ему не было это противно — вот что. Он бы даже — будь у него побольше храбрости — мог взять ее под руку. Но это бы было смешно, ведь Дылда выше его на целую голову. Она ведь даже длиннее Борики была.

Так они прошли пару кварталов и оказались возле зачуханного деревянного домика с огородом, уходящим куда-то в сторону. Нет, все-таки не все углы своего замурзанного городка исследовал Глеб — этого не знал вовсе: со всех сторон более или менее цивилизованные дома, и посреди них деревенская избушка, почти как у них, только подревнее, позапущеннее.

Марина нагнулась, вытащила из-под крыльца ключ, отворила избушку, показала жестом Глебке: мол, входи.

Екнуло в нем сердце от предчувствия — не хорошего, а соблазнительного. Он вошел, впотьмах они разделись. Марина захлопотала на кухне и очень быстро Глебку туда позвала, он и оглядеться не успел, хотя понял: все почти как у них дома. Застекленная рамка, за которой таращатся испуганные фотографом лица предков — побольше и совсем маленькие, как для паспорта, зеркало в простенке без всякой окантовки, бедное, как бы голое, стол, на нем книги и лампа с пластиковым абажуром; совсем деревенские, на веревочках, несвежие занавески на окнах.

Когда сели за стол, Глебка спросил Марину:

— А ты что же — не работаешь?

— Выгнали меня, — сказала она без всякого выражения. — Вот так, взяли и вышвырнули.

Глебка хотел спросить, чего же она зашла, но споткнулся, зная ответ.

— С кем ты живешь? — спросил неловко.

Она вскинула лицо, некрасивое, но совсем трезвое, даже слишком трезвое, неулыбчивое, и ответила всерьез:

— Жила с Борей... Пока он был. Теперь вот буду с братом его.

Глебка не сразу понял, что это она про него говорит, даже кивнул сначала, потом устался на нее. А она продолжила:

— Я ведь после Борика мать свою похоронила, буквально через неделю... Помолчала.

— Прямо дуплетом — бум, бум! Ты знаешь, что такое дуплет?

Глебка кивнул.

— Ну вот, — пробормотала Марина, — давай и выпьем дуплетом — за него и за нее.

Они выпили, не чокаясь, по две стопки, одну за другой, потом молча стали жевать капусту.

Глебка почувствовал, как поплыл куда-то, но было неудобно показывать, что он слабак. Марина поглядывала на него испытующе, словно проверяла, как держит удар.

Потом заплакала.

11

Все, что совершилось дальше, следует решительно опустить, потому что подобным жизнь переполнена.

Глебка, мальчик как все, наглядился в телике мерзости сверх всякой меры — похоть через край льется. В представлениях своих он всё знал и умел, но когда Марина заплакала, а потом ушла в комнату и прилегла на кровать, растерялся. Сидел в кухоньке, жевал капусту и даже не сообразил еще плескнуться себе для храбрости и войти в комнату. Она сама его позвала.

Только тогда он решился, и все у них произошло торопливо, неловко, стыдливо. А потом, когда надо было что-то сказать и посмотреть в глаза друг другу, и вовсе неприятно, потому что Глебка ничего этого не умел, а думал только о том, как бы скорее одеться да выскочить.

Низ живота у него страшно болел, про удовольствие даже думать не приходилось. Но стыда он не испытывал. Просто исполнил какую-то обязанность, что ли. Марина позвала, и он к ней пришел. Но зачем, почему и что дальше — этого он не представлял.

Торопливо двигаясь к дому, разматывая клубок смутных своих чувств, Глебка понял вдруг, что когда это все произошло, они с Мариной даже не поцеловались, что она ни слова не сказала ему, как и он ей, и что, похоже, она чувствовала себя перед ним виноватой.

Мальчишество жестоко — а может, это вовсе и не мальчишество, а что-то совсем другое? Он во всем обвинил ее, даже обозвал про себя самым последним словом. Но потом в нем все как будто сжалось — нет, это он, Глебка, паскудник и предатель.

И что это за оправдание — Бориски нет? Тем более, если нет! Он тебе ничего не скажет, никак не укорит. Выходит, ты совершил безответную подлянку: Борик промолчит, никак не ответит, а ты, брат родной, его предал. Просто предал. И дружки их общие, подуставшие от собственной памяти, просто цыплята в сравнении с тобой, мерзавец!

Совсем еще недавно — час, два назад? — он глядел на себя в стекло и полагал себя почти взрослым человеком! А сейчас оказался сопля-соплеи, нагавившим в собственной душе так, чему слова не выберешь.

Глебка шел по улице, и редкие, но все же встречались ему прохожие. И все они оборачивались на парня: лицо спокойное у него, а по щекам плывут слезы.

Дома изнуренный Глебка свалился на свой диван, тотчас уснул, и лишь во сне кто-то над ним смилоствился — ему виделось лето, лужок возле тихой речки и облака, в ней отраженные. Какая-то благодать снизошла на него, уравновешивая, наверное, низость произошедшего.

После сна облегчение не пришло, и уроки в голову не шли. На другой день он схватил сразу две “пары”, которые теперь надлежало отрабатывать, превращать их хотя бы в тройки. Но все это казалось мелочью, чем-то посторонним, маловажным.

Неприятное ощущение по мере отдаления от него никак не проходило. Глебка клял себя последними словами, страшась не кого-то, не Бориной даже памяти, а себя самого. Но вот поразительно, все это чувство все-таки отплывало, отходило куда-то в сторону, хотя и не покидало вовсе. Глебка просто физически чувствовал, что с ним происходят какие-то странные изменения. Мускулы рук и ног стали наливаясь силой, как будто он серьезно тренировался, бегал, например, или подтягивался, плечи его разворачивались и явственно становились шире. Глебка с удивлением прислушивался к переменам, происходившим в себе и, стыдясь самого себя, будто шепотом спрашивал, неужели это только оттого, что с ним произошло, и не находил ответа, потому что ведь спросить-то было некого. Да если бы и было — разве о таком спросишь?

Марина тем временем куда-то исчезла, даже не из памяти — из сознания.

Он будто забыл о ее существовании, слыша только собственные перемены. Но и это, пусть временное, равновесие не могло продолжаться долго.

Он снова встретил ее, на этот раз неподалеку от школы, и подумал с ходу, что она здесь не случайно, может, даже подкарауливает его. Но обдумывать это не было времени — Марина, совершенно трезвая, бодро шагала ему навстречу, улыбалась и, остановившись, наклонилась к его уху и этак заговорщически шепнула:

— Ты меня извини!

— За что? — краснея, ответил он.

— Да за многое! — ответила она, шагая с ним рядом в сторону, куда двигался он. — За то, что нетверезой была!

Рассмеялась как-то хорошо, искренне.

— За то, что мальчика соблазнила!

Глебка поежился, но ничего не ответил — на них поглядывали ребята и девчонки и из других классов, и из Глебкиного, и хотя все знали, что Марина соломенная вдовушка Борика, и заподозрить ни в чем Глебку не могли, он испугался, как бы Мариныны речи кто не услышал.

Чем дальше от школы они удалялись, тем меньше соглядатаев оставалось. Наконец они остались одни. Глебка обернулся раз-другой.

— Вот-вот! — сказала Марина. — И я про то же. Единственное оправдание — что не поверят. Мальчику пятнадцать, а тетке — двадцать пять. Разница сумасшедшая. Но знаешь...

Она прошла несколько шагов молча, может, слова выбирала. Потом продолжила:

— Но знаешь, ты ведь меня выручил. Может, и спас.

Глебка не знал, что ответить.

— Понимаешь, — говорила Марина, — с Бориком мы очень любили друг друга. По крайней мере, я. И когда поняла, что его нет, я стала с ума сходить. Что теперь? Как быть? И мамы нет, поговорить не с кем. И с работы выгнали, раз пить начала.

Они приближались к Маринойной избушке.

— Понимаешь, — говорила она убежденно, — я все думала, с кем я дальше буду. С чужим мужиком, который мне безразличен? Но это же предательство! И что я за тварь такая буду — только что оплакивала своего героя, любимого мужчину, места себе не находила, и — на тебе! — в постели с кем-то другим, совершенно посторонним.

Они уже стояли, не шли — рядом калитка к ограде, за ней худенькое ее жилище. Марина ничего не замечала — ни снега, который вдруг повалил, медленно и густо, ни людей, которые шли по малопроезжей дороге.

— Я сломалась от этой своей мысли, пойми! — говорила она. — Я стала бояться людей, особенно мужиков! А они, как черти из подворотни — только выйди на улицу с похмелья, тут как тут! Хватают за рукав! Мол, ай-

да! Мол, пошли! А я шарахаюсь! Боюсь! Боюсь подлой стать! И жить дальше боюсь!

Она развернула Глебку к себе.

— И вдруг — ты! Меня как молния какая прошибла! Вот! Конечно, еще мальчик! Но он же должен когда-то мужчиной стать! И кто ему подвернется? Какая шалава? А тут — я! И страдаю! А страдаю потому, что боюсь изменить его брату. Не изменить надо, нет, а как бы перевернуться, может, на такую вот ступеньку шагнуть. Не изменить, нет, а братику его помочь, понимаешь ли ты меня, милый Глебка?

С дороги, сквозь падающий снег, Глебку кто-то окликнул, и он вздрогнул, словно вор, застигнутый на месте. Вглядевшись, понял и еще раз вздрогнул — это был Хаджанов. Тот заулыбался, прошел мимо, помахав рукой:

— Привет, ребята!

Глебке захотелось уйти, бежать, ему было стыдно и жалко... О чем именно он жалел, вряд ли определить словами — а жаль ему было всего этого; прежде всего Марину — одинокую, никому не нужную, если и не опустившуюся до конца, то уже вполне к этому приготовленную; и хлипкую, из треснувших досок калитку, и сам домик этот, будто к смерти приговоренный, — не зря его со всех сторон окружили бесчувственные каменные чудовища.

И вместо того чтобы, как требовала душа, извиниться и уйти, Глебка снова вошел в дом, и снова они для храбрости выпивали, закусывая капустой, и вновь совершилась их близость, столь же утешная и нужная для Марины, как бессмысленно предательская для Глебки.

12

Ох, и много же наврано в нынешние времена для жить только начинающих про сладостные сны постельных утех! И радость в этом, и победа чего-то над чем-то, и ловкое обучение, и платные, ежели желаешь, удовольствия!

Не верьте, мальчики — да и девочки тоже. Все осталось, как было, и если находятся утешители, называющие близость физиологическим отпиранием во имя одного лишь удовольствия, то пригодно это лишь бесстыжести и разврату — плутовству в новых обортках.

Если же в вас живы совесть и нежность, если, того пуще, одарены вы печалью, от вас порой не зависящей, — приготовьтесь, что не сладость вам явится в дар, а горечь, и страдание, и досада.

Если вам уже не внушили лживую мысль о всеядности этой радости — самой, пожалуй, святой и самой легко порушимой.

Часть пятая

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

1

Совсем произвольно, не думая об этом, не умея даже сформулировать это свое желание, Глебка стал искать себе отвлекающее занятие. Он чувствовал, что кроме уроков, кроме даже компьютера, этой потрясающей форточки в бесконечный мир, он должен научиться чему-то еще, как учился стрелять его любимый Борик.

Навалилось непонятное беспокойство.

Школа стала раздражать своей каждодневной необходимостью, на уроках он часто проваливался в какое-то странное, темное небытие — будто засыпал, не засыпая. Отключался, не слышал, о чем говорит учитель, даже на переменах вырубался, не слыша возбужденных голосов ребят. Он вообще стал смотреть на одноклассников словно на каких-то посторонних существ.

Знал про себя, что сильно от них теперь отличается, и не столько своей тайной, сколько неожиданным и резким повзрослением.

Глебке казалось, что он и думать-то стал совсем по-другому, и наполнен теперь какой-то другой энергией, пусть нечистой и даже не вполне его собственной, но, что поделаешь, — настигшей его, в него вселившейся.

Сидючи однажды на физике и словно издали прислушиваясь к словам учителя о теории ядерной энергии — как критические массы материалов, соединяясь между собой, выделяют невидимую энергию, высвобождаемую реакцией соединения, что лежит в основе атомной, скажем, бомбы, он вдруг, усмехаясь, подумал, что это, наверное, относится и к нему. Когда-нибудь, при каких-то неведомых пока обстоятельствах, элементы и силы, находящиеся внутри него самого, сомкнутся, сольются и выдадут неведомую энергию. Произойдет взрыв, наверное! Или эта энергия начнет питать какую-то важную мысль. И вся жизнь его озарится светом этой мысли — и делом, которое эта мысль породит!

Он переменится и окончательно станет взрослым, а пока взрослость бежит немножечко впереди, физика обгоняет мысль, теорию его, Глебкиного, существования.

Знал бы Глебка, как близко к истине подступили эти его наивные вроде предчувствия и как скоро совершилось сложение энергий.

Однажды он возвращался из школы, и на полдороге его нагнал Ефим, младший из торгового племени погодков — он школу кончил, учился на втором курсе политехнического, который имел у них в городе свой филиал — от армии родители его откупили. Тут же он сунул Глебке банку колы, и они шли, прихлебывая подслащенную бурду, обладавшую, как услышал это Глеб от Марины, двумя качествами: вода — русская, электричество на заводе, где ее разливают, русское и деньги за колу платят русские. Даже моча, получающаяся из колы, русская. А вот деньги за нее попадают в Америку. И выгода от этой колы получается американская. Неслабо! Вон сколько миллионов русаков хлещут это пойло с выгодой для американов! А пиво! Ведь все пивные заводы, кроме одного, у финно-шведо-датцев! И пива льется океан! А виски всякие! А шоколад! Даже водка! Эх, простодушная нация!

Глебка просто так, смеха ради, стал Ефимке рассказывать слышанную эту экономтеорию, тот удивился, хоть студент, задавал вопросы, этакий получился неожиданный семинар.

Они даже не заметили, как столкнулись с целой стайкой чернявеньких пацанов — было их человек пять или шесть, причем двоих, старших, Глебка знал, они жили в доме, который построил Хаджанов на месте голубого домика.

Парни эти двигались как-то не по-здешнему — не рядком, перекрывая дорогу, как русские хулиганята, но живо расступаясь, когда надо было уступить старику или просто взрослому, не сбитой маленькой компашкой, плотной и непробиваемой, а этаким эшелонированным порядком — впереди помладше, в середине — и есть середняк, а замыкали группу старшие, подававшие, если надо, короткие гортанные команды.

Встретившись с Ефимом и Глебкой, они не приняли вправо, на свою часть дороги, а как бы обтекли их со всех сторон, при этом кто-то, похоже, из средних пацанов то ли нарочно, то ли случайно поддел студика Ефимку под локоть, и банка с колой выпала из его руки. Ефимка громко матюгнулся, но толпа чернявых уже миновала, а через мгновение, будто после раздумья какого-то или после команды, расхохоталась, и тонкий голосок, видать, из младших, незлобно воскликнул, ни к кому не обращаясь:

— Русский ишачок!

Потом Глебка не раз подумает, что крикни этот голос — “ишак”, все бы обошлось, быть может, а вот “ишачок” их обоих необъяснимо разъярил.

Вот в этот миг какие-то материи сомкнулись в Глебке, энергия ярости, не слишком объяснимая, вступила в область лба и ушей — они с Ефимкой бросились вслед за чернышами. Те, забыв про оскорбление, мелкой рысцой двигались вперед, обмениваясь гортанными звуками, и не оборачивались назад, безмятежно зачислив на свой счет легкую уличную победу. И потому

два коршуна, ловко налетевшие сзади, достигли цели легко и с абсолютной точностью — двух старших из троих, двигавшихся к ним спиной, они снесли легкими ударами ног под колени, третий ринулся вперед и снес несколько средних, средние наткнулись на младших и уронили их — прямо-таки эффект домино! Сбив арьергард, Глебка и Ефим сразу и запросто одержали победу.

Они не стали никому ничего добавлять, развернулись в сторону дома и довольно быстро утешились, не придав стычке серьезного значения, но в тот же вечер окно Глебкиного дома разлетелось от камня, влетевшего прямо на половик. Бабушка перепугалась, повторив двадцать раз, что за всю её жизнь никогда такого не случалось.

Глебка накинул пальтецо и отправился к братьям. Они хорошо знали городскую торговую топографию — кому, что и где принадлежит, и объяснили Глебу, что восточники, или “юги” — так никто и не знал, какой именно они национальности — владеют палатками возле автовокзала, недалеко от санатория, еще кое-где, вразброс, и несколькими магазинчиками покрупнее, уже давно составляя торговую конкуренцию не только семье горевской троицы, но и вообще местным.

Ничего в Глебке не клокотало, не бурлило, не пенилось. Энергия, пусть совершенно не ядерная, но какая-то деловая, что ли, высвобождалась не торопясь, даже разумно, по крайней мере расчетливо, превращаясь в простецкую мысль: чернявые здесь не хозяева, а гости, и хамить не имеют права, а значит, надо им дать понять, как положено вести себя в гостях.

Глебка предложил поджечь палатку. Для начала — одну. Но так, чтобы, понятное дело, комар носа не подточил. Братья дружно возликовали, хотя были старше своего командира. И если Ефим — второкурсник, то Федя учился на третьем, а Петя так и вообще на четвертом курсе все того же благословенного Политеха из-под Москвы, который раскинул тут свои образовательные шатры. Могли бы охолонуться, отказаться — но заело их, что ли?

2

Это оказалось проще пареной репы.

В братниной торговой семейке к тому времени была поношенная “газель” — для перевозки грузов, а в ней бензин, и они скачали из бензобака небольшую пластиковую канистрочку, литра два горючки.

Единственная трудность — как объяснить потом, где был, потому что акция планировалась на полночь — время почти что мертвое. Краснополянск ведь не столица какая-никакая, а просто дырка от бублика, зимой в десять только телевизионные экраны за окнами помаргивают, а улицы мертвы, магазины, не говоря про киоски, давно закрыты, кинотеатры сплошь погорели, лишь кое-где подсвечены двери увеселительных заведений, вроде пары рестораничков да десятка баров. А так — тишь да благодать, деревня, она и есть деревня. Впрочем, кому объяснять — народ всё взрослый, почти образованный — кроме Глебки.

Двое братьев, что помоложе, двигались впереди, их задача — слегка подсвистнуть, если возникнет опасность, в других же случаях двигаться молча и на пьяных мужиков, к примеру, или еще каких случайных забулдыг, независимо от пола, не реагировать. Посерединке двигался боевик Глебка, в руке он держал плотную старую бабушкину сумку, сплетенную из какой-то замызанной, но тем не менее прочной синтетики, а в ней таилась канистра, в силу недополненности издававшая хлопаящие звуки. Еще один брат, на расстоянии метров пятидесяти, замыкал цепочку.

Намеченный к отмщению ларек был со всех сторон закрыт фанерными щитами на хлипеньких навесных замках. Глебке на минуту стало как-то совестно, не по себе. Ну и чем виноват перед ним этот черный неодушевленный предмет, напичканный разнопородной жвачкой, бутылками и прочей мурой? Он, однако, быстро прихлопнул странное свое сочувствие, себя же и укорил: ведь это именно он предложил проучить чернышей таким убедительным способом.

Братья рассредоточились вокруг и стали описывать неторопливые круги вокруг ларька, страхуя исполнителя от неожиданной опасности.

Глебка открыл канистру и, отогнув края сумки, вылил содержимое на стены и даже на крышу, пусть и не сильно, но заснеженную, заплеснул. Туда же потом кинул и сумку с опустевшей тарой.

Все было тихо кругом. Ни единого прохожего, да что там — ни единого звука в городке, прихваченном морозцем. Будто и он сочувствует Глебке и трем братьям Горевым в борьбе за право местного первородства.

В кармане у Глебки припасен был неполный коробок спичек. Разъяривая себя, стараясь возненавидеть этот фанерный куб и все, что предполагается за ним, он чиркнул спичкой. Едва коснувшись фанерной вертикали, она обратилась в сполох такой силы, что Глебка едва успел отскочить.

Будку объяло пламенем со всех сторон, и ребята, за исключением старшего из братьев, Петра, мигом рассредоточились в три разные улочки. Замысел состоял в том, что, если кто и встретится, то никак уж не скажет про четверых парней, попавшихся навстречу.

Петру же, ответственному наводчику в этом деле — ведь это он указал палатку, назвал имя хозяина и привел к ней, — предназначалась роль наблюдателя за финалом операции. Он должен был через некоторое время вроде бы случайно появиться на пожаре и проследить, как станут развиваться события дальше.

Рассказал он об этом назавтра.

Глебка улыбался, слушая возле заснеженных бревнышек его негромкое, в шепот переходящее повествование, что киоск уже сгорел почти дотла, когда приехали пожарники. Они даже шланг разматывать не стали, чтобы тушить, ведь ясное дело, какая это морока для них — сматывать потом его, заледеневший, на огромную железную катушку внутри машины. Неторопливо вышли, постояли, посмотрели, оглядываясь вокруг, но ближние деревянные дома стояли не близко, и пожарники просто подождали, пока будка совсем прогорит. Железным багром попытались даже покочегарить: может, хотели вытащить из огня бутылку? Да куда там — все кануло в огонь.

Глебка ухмылялся, но кошки на душе скребли. Однако виду показывать нельзя. Он призвал только:

— Смотрите, парни! Все только начинается. Если кто, почувствуете, копать начнет — отпирайтесь, и все.

— Тю, — усмехнулся старший, Петя. — И ты нас наставляешь?

Остальные хохотнули — было, видать, что вспомнить.

Но никто копать так и не начал. Братья порадовались и быстро забыли, да и радость их эта была какой-то примитивной: нанесли укол конкуренту! И даже не своему. А родительскому. Не удар — а только укол.

Но это же похоже на детскую забаву, класса для четвертого, когда тебе под задницу кладут кнопку острием кверху, и ты с маху садишься. Больно, обидно, но это же для малышей, а не для студентов, как троица! И вовсе не это подразумевал Глебка, когда собирался отомстить за разбитое стекло, нет. Да разве в стекле дело — его вставили в тот же день. Нет! Суть в том, что все они, горевские, тут родились, и родители их, и дальние предки. Так какого же лешего эти черныши тут свои порядки устанавливают?

В глубине души у Глеба что-то происходило, какой-то сдвиг. И это касалось Бориса. Ведь он же где-то там погиб, в южных каких-то горах.

Он погиб, а они здесь пасутся! И хоть помнил Глебка искренние, со слезами почти, слова Хаджанова, что он своих земляков здесь, в России, от беды спасает, которая в его дом пришла, что-то тут не совпадало.

Не верил он больше Хаджанову, вот и все.

3

Хаджанов не замедлил нарисоваться. Недели через две мама сказала Глебке, что Михаил Гордеевич просит его заглянуть к нему в тир. Давно, мол, не виделись. И дело есть.

Глебка слегка напрягся: братья, уже без него, спалили за это время еще два ларька, столь же бесследно и бессвидетельно исчезнув. Оба раза они даже не поставили Глебку в известность о своих намерениях, зато потом с радостным гогогом докладывали ему о победах, как докладывают об исполнении бойцы своему командиру, и у Глебки язык не поворачивался укорить их хоть за что-то. Разве не он сам все это затеял?

Так что приглашение Хаджанова, чего говорить, слегка насторожило: откуда он мог докопаться? Если докопался, конечно. Добежал до братьев, сказал, куда идет после уроков, выспросил их с пристрастием, не ляпнул ли кто кому. Но они были равно тверды и уверили, что никто, ни единой душой, провалиться на этом месте!

На самом же деле, хоть идея и первенство принадлежали Глебке, смысл и адрес наказания назначили студенты. Получалось, что киоски сожгли по Глебкиному почину, но в их интересах. А теперь требовалась стойкость.

В тир Глебка входил с трепетом. Вспоминались прежние, с Бориком, времена — благодатные, беззаботные. Однако вспоминавшееся сливалось с новым — с его, Глебкиным, отдалением от Хаджанова, если не отчуждением, и с этой новой тайной, в конце концов против Хаджанова обращенной.

Глебка вошел с улицы, наверное, порозовевший от морозца, и потому выглядел слегка праздничным и обманчиво приветливым. И сразу нарвался на благожелательность майора.

— О, какой гость, Глебушка, дорогой, заходи, пожалуйста, раздевайся, будь как дома, давно ты не заглядывал, почти забыл, не очень хорошо это, помни — старый друг лучше новых двух, это же не наша, а старинная русская поговорка, — и еще что-то барабанил в том же приветливом и, как почему-то показалось Глебке, обманном духе.

Он же тем временем ревниво оглядывал тир, замечая перемены к лучшему. Стрелковый коридор был наново побелен, ярко, по-новому освещен, а смотрели на него, оставив на полу оружие, те самые пацаны, двое старших, с которыми они столкнулись недавно.

Стояли они спокойно, смотрели приветливо и как-то чрезмерно уверенно, как смотрят уже что-то хорошо умеющие люди. Например, люди, умеющие хорошо драться. Или вот — стрелять. Так, видать, и было, потому что Хаджанов подозвал к себе этих мальчишек, назвал их — Осман и Хасан — и велел протянуть руки Глебке.

— Посмотри, — начал Хаджанов разговор, — вот они, по-русски Саша и Руслан, достигли первого юношеского разряда, время еще есть, по весне поедем на первенство области, а там, дай Аллах, если не дрогнут и проявят хладнокровие, как твой брат, могут судьбу свою определить, а?

Тут он почувствовал, что перегнул насчет Бориной судьбы, замаялся, приостановился, но быстро продолжил:

— Вот помнишь, я позвал тебя, чтобы ты тренироваться начал, ведь ты каким еще мальшом здесь стрелять научился! Сам Бог тебе велел! А я все никак не могу тебя уговорить!

Он увлек Глебку в кабинет, откуда-то из глубины его возникла кареглазая девчонка того же роду-племени, вынесла поднос с круглыми стаканами, суженными неподалеку от горлышка, маленькие блюдечки с сахарком, назвалась Эльзой и по знаку Хаджанова скрылась в тире. Он пояснил:

— Эльза, между прочим, тоже стреляет. Вот собираем женскую команду, а?

Они примолкли — точнее, примолк майор, — когда они стали чай прихлебывать. Вот тут Хаджанов, наконец, и высказал — медленно, совсем по-другому — то, ради чего звал Глебку.

— У меня к тебе большая просьба, Глеб. Дружеская. Могу же я тебя по-дружески попросить? Нас ведь с тобой Борис связывает. А?

Что оставалось Глебке? Внимательно, в предчувствии, взглянуть Хаджанову в глаза и кивнуть.

— И давай договоримся, — Хаджанова устроил Глебкин кивок. — Все останется между нами. Между тобой и мной. Никто об этом не узнает.

Глебка кивнул снова. Хотя его не покидало чувство: он — кролик, а Хаджанов — удав, и вот-вот заглотит его. Гордеевич с шумом отхлебнул большой глоток чая и опять же медленно, чтоб запомнилось с одного раза, пропечатал:

— Ты можешь узнать? Кто-то сжег три моих киоска. Кто это сделал?

Глебка чуть было не выпустил из рук приталенный стаканчик. Его поразила не тема разговора, а невероятность предложения. Скорее механически он спросил:

— А как?

— Поговори с ребятами. Со взрослыми. Походи по торговым точкам. Поспрашивай. Сам что-нибудь порасскажи.

— Что?

— Ну, например, что это ты их поджег. — Хаджанов глядел на него и правда по-змеиному. Смотрел, как Глебка среагирует. Но он выдержал этот взгляд. — Будто бы! — выдохнул Хаджанов. — А настоящий злодей над тобой засмеется, скажет: “Э-э, мальчик, ты еще слишком молод для таких дел. Это моя такая шутка”.

Волна напряжения отхлынула. Ничего он не знал, этот змей. Он, видите ли, предлагает послужить ему. Пыгается из Глебки сделать доносчика, гад.

Опять внутри Глеба что-то сдвинулось, шевельнулось. Невидимые и неведомые пласты. Проснулась и пришла в движение другая, совсем не детская энергия. Ему очень хотелось ляпнуть майору, пусть и Борисову когда-то другу, все, что думает о нем.

Но что, что он думает? В какие слова и фразы мог он облечь свои догадки, до конца еще не понятые самим собой? И он поступил разумно. Он спрятал в себя выпирающую взрослость и ответил по-детски:

— Я этого не умею!

Наступила тишина. Хаджанов поставил в блюдечко свой восточный стаканчик. И Глебка понял, что не тот человек Хаджанов, которого так влежку можно провести. Что майор его разгадал. Нет, он ни о чем не догадывался всерьез, он просто понял, что Глебка выскальзывает, не желает отдать ему свою волю, свою независимость. Несмотря на упоминание Бори.

И вот тут Глебка Хаджанова увидел совершенно другим.

— А-а, ты не умеешь? — усмехнулся он. — А то, с Мариной? Умеешь?

Глебка вспыхнул, покраснел, наверное, до самых пяток, хорошо что зеркала в кабинете не было.

— Раз уж ты такой невинный мальчуган, — продолжал рубить Хаджанов, — так хотя бы за такой вот Эльзой, — он махнул рукой на дверь, — поухаживал бы. Больше было бы толку! А что тебе Борис скажет?

Глебка хотел сказать: “Бори нет! И какое вам дело!” Но задохнулся, ничего выговорить не смог, смотрел на стенку во все глаза. Смотрел на обыкновенную бетонную стену и проваливался сквозь нее в преисподнюю.

Будто сквозь вату, издалека, услышал последние слова Хаджанова:

— Подумай над моими словами. И мы тебя в обиду не дадим. Будешь наш во всем.

Остаток этого дня стал мукой мученической. Глебка ощущал себя обгаженным каким-то. То, что он испытывал, ничего общего не имело с обидой слабого ребенка на сильного взрослого, которому лучше не перечить, а то и по урыльнику схлопотать недолго. Хаджанов совершил нечто иное. Мизинцем к Глебке не прикоснувшись, попробовал согнуть, сломать — нет, подчинить, обратить в рабство. Унизить. Не знал ведь он ничего про Марину, не мог знать, если, конечно, сама она каким-нибудь образом не брякнула, не призналась. Однако сделать такое возможно, лишь себя не помня, вдребезги пьяной. А Марина не шла. Больше того, ее назад в библиотеку приняли. Пусть временно, со всякими оговорками, но она аж светила вся! Выходит, Хаджанов Глебку подначил, взял на понт. Так это ж подянка высшей пробы. Хуже не придумать! Значит, что-то все-таки знает? А если не знает, так конченный подлец, которому не то что руку подать — говорить с ним не надо. Увидев на улице, разворачиваться от такого и бежать. И потом все эти

предложения! Эльзу предлагал, она что, товар у него? Или в стрелковую команду вступить? И что значат эти гарантии: “Мы тебя в обиду не дадим! Будешь наш во всем!” Выходит, я тоже товар для него. Доносчик, ухажер “южачки”, стрелок восточной команды! Еще кто?

А кто ты, майор Хаджанов?

Глебка мучил себя вопросами, которые были остры, как наточенные ножи циркового фокусника, мечущего их в малую цель.

Но ведь когда случилась с Борей беда, о ком ты подумал раньше всего? О Хаджанове. Куда побежал? К Хаджанову. И мама — не то чтобы шла на поклон, но когда что-нибудь творилось неладное — тоже помнила об этом, с вечной улыбкой, человеку. Почему так? Чем он отличался от других?

Когда просили займы, сразу из кармана деньги доставал, не увиливал. Конечно, ни Глебка, ни Боря, ни мама никогда не просили. Но не отказывались, когда что-то такое привозил, давал, дарил. Бабушка по-смешному, правда, старалась отдариться — то сметаны банку с мамой отправит, то молока. Вот она, похоже, что-то чувствовала, хотя никогда не говорила. И Глебка ведь чувствовал, но не мог понять. Рылся в себе, да себе же и не верил до конца — вот так мы часто подавляем в себе справедливые предвестия. А зря.

Глебка барахтался в себе, бултыхался весь остаток дня, и хотя, вернувшись, засел за уроки, ничего ему в ум не шло. Включил компьютер, вошел в интернет — чтобы старших не привлекать бездельем явно выраженным, ушел в безделье же, только скрытое видимым занятием.

Глядел в экран, щелкал “мышкой”, гонял неведомые программы, читал блогерские записи — жил чужой жизнью, и все без признаков смысла, погруженный в сточную яму своих горестных размышлений.

Сначала он подумал, что хорошо бы пойти к Марине, но память о дневном уворе остановила его. Нехотя он глянул на открытку, прикрепленную к стене, — Боря с лейтенантскими погонами, праздничный послевыпускной приезд. Глебка давно не смотрел на портретик этот, его присутствие вообще мешало с тех пор, как к нему прилипла Марина. Но теперь он посмотрел на фотографию открыто, страдая, со слезами в глазах, раскаиваясь и вновь отлетая в тот день, когда явились люди из военкомата. Лег рано, не просто усталый, а вымотанный, иссушенный до дна.

Глебка сорвался в сон, как в новую бездну. С ним и раньше такое случалось — совсем недетские видения во сне, взрослые чьи-то слова, от чего-то предупреждавшие, что-то поясняющие, смутные знаки и намеки.

Странно, но в этот раз он видел нарядный летний холм, усеянный разноцветными коврами одного и того же нечастого у них цветка — шафрана. Фиолетовый и темно-синий на соседних луговинах, во сне он был еще и темно-малиновым, палевым, ярко-желтым, а то и совершенно алым. Глебка поднимался по пологому склону холма, и ему было хорошо, счастливо — рядом кружились необыкновенно красивые бабочки, по виду как будто совсем обычные, местные, капустницы и шоколадницы с оранжевыми и белыми пятнышками, только очень крупные, раза в два, а то и в три больше, чем заправду.

Глебка шел по цветам, они раздвигались под его ботинками, не ломаясь, а сади смыкались вновь — так что он ни одного стебелечка не сломал.

Он поднялся на вершину. Теплый ветер ровно поддувал со всех сторон. Со своей противоположной стороны холм был таким же пологим, но там, где эта пологость завершалась, был глубоченный обрыв, внизу блестела стеклянная речка и стоял лес — но не летний и теплый, как этот цветастый и праздничный холм, а осенний, ярко-рыжий, с красным кое-где отливом, и этот лес упирался в дальние черные горы, похожие на как бы вырезанный из бумаги далекий фон.

Глебка почему-то знал, что путь его лежит к этим дальним горам, но ума приложить не мог — как спуститься к речке по отвесному обрыву. Надо было двигаться вперед, это ясно. Но как двигаться — подсказка отсутствовала. Намека даже не существовало, как соединить эти пространства.

Поэтому Глебка просто стоял наверху, оглядываясь вокруг, любуясь праздничным полем многоцветного шафрана и не зная, как быть.

Проснулся со странным, каким-то цветным предчувствием. Вчерашнее не забылось, нет. Оно просто отодвинулось, отошло, утонуло в нарядном сне.

Зная, что не готов к ответам в классе, Глебка тем не менее шел бодрым, даже радостным, спорным шагом. Чего-то нашептывал под нос. Даже подвизывался.

Кругом не озирался, не глядел — все было старым, привычным.

Мельком вздернул голову, и все в нем рухнуло.

Навстречу торопливо шагал Борик. А рядом с ним — Марина.

Глебка глядел, забыв обо всем и ничего не ощущая.

Этого не могло быть! Никак! Борис похоронен на городском кладбище, он погиб смертью храбрых.

Но вот он идет навстречу.

И смотрит на Глебку.

И вовсе не улыбается, как положено, а плачет.

Ни один мускул не дрогнет на его ровном, гладком, хотя и посеревшем лице — просто катятся слезы из глаз.

Он не подбегает. Он подходит тем же ровным, хотя и быстрым шагом, которым шел, и молча, крепко прижимает Глебку к себе.

Глебка тыкается носом в жесткую офицерскую пуговицу, царапается о нее, но ничего не замечает, и тоже плачет, хотя ему хочется кричать. Но вместо этого из него вырывается какой-то сдавленный хрип.

Так они стоят посреди утренней, смурной улицы, крепко обнявшись, два брата, уже не так сильно отличимые по росту, очень разные по своей одежде — один в новенькой ушанке с кокардой, в куртке, в щегольских, особенных каких-то ботинках, другой же в своем школьном бедном пальтеце с цигейковым воротником, в шапчонке, между прочим, с Борискиной головушки — да и пальтецо-то его, братово когда-то, и они молчат, трясутся только оба от неслышимого — но радостного ли? — плача.

А рядом то ли приплясывает, то ли притопывает, то ли просто мается молодая женщина, Марина, а глаза у нее совсем окатые, растопыренные, но и радостные же, восхищенные, ополоумевшие.

Она держит в руке спортивную сумку, поглядывает на народишко, чуточку сбежавшийся вдруг откуда ни возьмись — из магазинчиков, подъездов, каких-то уличных щелей на чудо чудное потарашиться, подивиться, поспросить друг дружку, да негромко, чтоб не слышал тот, кого похоронили, — что ж это за такое, как ж это так?

Бориска отпустил Глебку, чуточку отодвинул и, разглядывая его, изучая перемены в резко подростшем брате, не ему сказал, а народу, сбежавшемуся на чудо.

— Да жив я, жив!

И засмеялся. Но совсем не радостно засмеялся...

Из суматохи первых суток запомнились две составные: чудесность и растерянность.

Откуда растерянность, объяснять не следовало — несколько раз Глебка встречался глазами с Мариной, но она взгляда не отводила — улыбалась ему ясно, без всякого намека, и Глебка понимал, что она-то промолчит. А он? Сам-то он как себя должен вести, и может ли между братьями быть такого свойства ложь? И что же делать? Сказать? Признаться? Но как это сделать?

Так что, как бы ни твердо вела себя эта взрослая женщина, он, напротив, никакой уверенности в себе не чувствовал и как вести себя, не знал.

Чудесность Бориного возвращения тоже странной была. То есть — нет, конечно, чуду нельзя не поражаться, да еще такому. Но Боря что-то явно скрывал.

Он рассказал всем, кто собрался за поспешным домашним столом, что были они с тем, неизвестным ему парнем, однофамильцы. Трех ребят,

и его среди них, захватили в плен. Больше года они провели в подвалах, несколько раз их переводили в новые места, но всякий переход происходил ночью, и он даже сказать не может, где был и как звали людей, у которых они жили, потому что они так и не сказали ни слова по-русски.

— Тебя за границу вывезли? — охала мама.

— Нет! — он мотал головой и прятал глаза.

— Что же это за нелюди? В России — и ни слова по-русски? Такие есть?

— Еще сколько!

Чтобы больше не допытывались, не мучили его, Борис коротко и сухо объяснил, что два его товарища, рядовой и старшина, погибли — один от страшной дизентерии, потому что кормили их хуже собак, а второго просто пристрелили и заставили Бориса, опять же ночью, закопать его в лесу, точнее, в густом горном орешнике.

Работать их не принуждали, просто держали в подвалах, и Борис предполагал, что держали их для обмена, если кто-то из их полевых командиров, в свою очередь, попадет в плен к федералам. Но таких случаев что-то не подворачивалось, возможно, быстрее меняли тех пленников, кто находился поближе к местам стычек, и по тому, что кормить стали еще хуже, он понял — предложение об обмене так и может не состояться, а его просто убьют и зароют в лесу.

Глебка, да и все остальные, — а за столом, кроме близких, собрались, конечно, и детские дружки, в мужиков выросшие, каждый со своей судьбой, взрослый же народ, — слушали Борину повесть как пересказ какого-нибудь боевика из телика. Однако не верить в жуткую и поразительную правду этого рассказа было невозможно, и в домике, несмотря на щедрую выпивку, стояла трезвая тишина.

Борис был ранен, и неслабо, в левое предплечье, он потерял сознание, что и оказалось причиной плена, и все же удачей: крови потерял немало, но мог идти.

Двоих, раненных в ноги, “юги” пристрелили прямо на месте.

Оклемавшись, чуть окрепнув, Борис принял решение бежать. Документов, естественно, не было никаких, их отняли сразу, потом увели далеко в горы, туда и дорог-то нет, одни тропы, ну, а зимой вообще не доберешься — снегу по грудь, и сами-то “юги” не сильно нос из домов своих высовывают — вот в это-то время и решил он рвануть.

Уверенные, видать, что бежать ему некуда, хозяева не очень надежно запирали подвал, днем так и вовсе не запирали, и под утро, в темноте, он выбрался на волю.

В последнем пристанище своем, при входе в подвал, он давно заметил заброшенные лыжи с древними креплениями системы “лягушка”, и пару старых бамбуковых палок. Не исключено, что их доставили сюда в пору теперь уже давней советской власти, и кто-то когда-то пробовал на них ходить. Наверное, их должны были сжечь в печке, да, на его счастье, не успели.

В общем, лыжи эти Бориса и спасли. Он ведь тренировался в гонках по биатлону в своем десантном училище, да и в детстве, в Краснополянке, лыжи для ребят дело привычное.

Он выбрался из подвала, потихоньку вытащил лыжи с палками и вылез наружу. Валил густущий снег. Не надевая лыжи, не тратя времени, Борис побежал вниз по склону, к краю селения, и ни одна собака не взбрехала — все звуки поглощал снег, стоявший стеной.

Только отойдя метров на сто от последнего строения, он приладил лыжи к драным своим ботинкам.

Склон был пологий, и его плавно понесло, будто кто-то ласково подталкивал сзади ладонью.

Борис не падал. Несколько раз останавливался, обматывал ботинки заранее припасенной проволокой и веревками. Когда стало светать, снег прекратился, но сразу пал туман.

Когда склон закончился, пришлось переть по равнине, вот тут стало понастоящему тяжело. Пришлось бросить лыжи и двигаться только с помощью палок.

Похоже, за ним не погнались: такой снегопад, такой густой туман, никуда не уйти нездешнему человеку! Плинули, наверное, и не погнались. А может, и гнаться-то было некому. Борис сказал, что в последнем доме хозяйничал старик и две женщины — одна еле передвигалась, вторая тоже вряд ли пошла бы за ним в одиночку. А перед соседями они со своим пленным парнем не выставлялись, предпочитали не хвалиться, что в подвале сидит русский. Не очень-то, видать, друг другу доверяли — у них там свои отношения, свои тайны, свои, как они говорят, у каждого тейпа старшие и подчиненные.

Борис выбрел на занесенную снегом дорогу, пошел по ней, потом услышал надрывный звук большой, тяжелой машины, на таких передвигались только наши войска, а уж никак не “юги”, прилег на всякий случай за снежный вал, но не ошибся. Въявь разобрав, что машина своя — вышел на дорогу. Его подобрали. Отправили в свою часть, он долго писал нужные объяснения, рассказывал устно. Все эти рапорты были приняты к сведению. Его восстановили в списках личного состава, назначили на прежнюю должность. После этого он подал рапорт об увольнении. Его долго уговаривали старшие офицеры, даже несколько полковников сразу. Убеждали, что так или иначе это испытание ему зачтется. Но он уперся. И был аргумент: ранение. От него в конце концов отстали, сказав, что это шок, что он пройдет, когда его как следует подлечат.

Но шок не прошел, потому что это был не шок.

— “Юги” эти, конечно, не по-русски говорят, — сказал Боря в конце своего рассказа, — и не русские родом, и убили моих товарищей, но ведь и я...

Он помолчал, подумал. Добавил:

— И я не с зонтиком на плече приехал. А с автоматом. Точнее, со снайперской винтовкой. На работу приехал.

Еще помолчал.

— И не надо мне больше такой работы. Не хочу. Нароботался.

Он голову опустил. А Глебка подумал, что Боря не все рассказал.

Когда луковицу чистят, шелуху с нее слой за слоем снимают. И немало этой шелухи снять надо, много слез пролить, пока луковица, будто истина, перед тобой явится — голая, желтая или розовая, это уж от сорта зависит.

6

В конце того разговора, самого первоначального, Петька проговорил такие слова:

— Ну, эти черныши! Там тебя в плену держали! А тут будто дома у себя ходят!

Удивительно, но Борис возразил:

— Черныш чернышу рознь. Ты всех-то не равняй!

Бабушка точки расставила, спросила о том, что у всех на кончике языка вертелось:

— А этот-то... Наш-то... Улыбчивый-то... Махмут, как его дальше, — не из этих будет?

— Из соседних, — ответил Борис, — там, неподалеку тоже. Похожие они...

— Там все похожие, — не унимался Петька, хотя ведь точно не знал. Иногда, правда, и не зная, угадаешь. Борис кивнул.

Ну, и еще одно крутилось — неразъясненное и важное — уж важнее некуда. Как это так получилось, что гроб с ним домой пришел, кому это понадобилось — подложить его документы другому, видать, изуродованному? И, наконец, кто же тогда тот человек, которого похоронили под именем Бори? Он и это разъяснил, хотя как до конца разъяснишь? И без него военная служба, за груз-200 отвечающая, похоже, засуетилась, забегала, вызывал его следователь, потом все затихло. А так — тоже Горев. И тоже Борис.

— Пойдешь, — спросил его, смущаясь, Глебка, — на кладбище? Посмотреть? — хотел добавить: “свою могилу”, но не решился.

— Пойду, — спокойно ответил Борис. Поглядел Глебке пытливно прямо в глаза. — Да прямо сейчас и пойду!

И как ни отговаривали его бабушка и мама, как ни убеждали, что и завтра успеется, он быстро оделся и не оборачиваясь, никого с собой не зазывая, вышел из дому.

Кавалькада собралась приличная: про Марину говорить не приходится, Глебка и все дружки-приятели, успевшие-таки прихватить с собой пару бутылок да банку огурцов, увязались с ними и трое взрослых, скорее даже стариков, последних горевских мудрецов-фронтовиков, с медальками, которые вроде заглушенных колокольчиков побрякивали едва слышно под худенькими, ветром подбитыми, пальцами. И шли эти старики позади молодых мелкими, поспешными шажочками, оскальзывались на наледи, пошатывались от вина и обсуждали что-то свое, им только понятное. Время от времени, когда идущие впереди к ним оборачивались, старики просили погодить, не жать “динаму”, и тогда младое племя чуточку притормаживало, не стремясь при этом задержать только одного человека — Бориса.

Он шагал впереди спорым, сильным шагом, Глебка еще подумал, что таким же сильным, неостановимым было, наверное, его движение там, в заснеженных, таинственных южных краях, когда он спасался, спускаясь с гор. Одна Марина почти бегом попевала за ним.

Но это и правильно, ему и нужно было придти пораньше, побыть одному, и справедливо, что с Мариной.

Глебка помнил, как она прошлой зимой стояла здесь, перед могилой, на коленках и плакала совсем бессильно. И тогда представить даже немислимо было, что у того холодного дня будет еще продолжение. Да какое!

Он убавил шаг, остальные тоже замедлили, дожидаясь стариков, а на самом деле давая Борису с Мариной хоть две или три минуты на то, чтобы побыть там вдвоем.

Когда они сквозь протоптанные рыхлые сугробы подобрались к могиле, Борис стоял, сняв шапку, а Марина поднимала ему воротник шинели. Лицо у Бори казалось онемелым — оно было белое, словно замерзшее, а серые глаза черными. Он вперился в надпись на деревянном, выкрашенном в красное, памятнике. Боря смотрел на свое имя, выгравированное на табличке — годы, месяцы и дни своей жизни, и что-то в нем творилось, незримое и тяжкое.

Подревли старики. Только теперь Глебка понял, почему они отправились на кладбище. Не могила же была им любопытна, что они — могил не видывали, не бывали на зимнем, замороженном кладбище? Но никогда и никто не видел человека перед собственной могилой. Каким он перед ней окажется? Что скажет — или не скажет? И что вообще должно тут случиться?

Но ничего не произошло. И Боря вел себя спокойно, точнее, замороженно. Долго, долго стоял, потом опустился на колени. И голову опустил.

Тогда кто-то из стариков кивнул молодым, видать, он знал, где начало и где конец, за спинами послышалось знакомое бульканье. Первый стакан протянули Боре, он принял его, громко, один раз, глотнул. Задержался. И выплеснул все остальное в снег, прямо под памятник, под блестящую пластинку со своим именем.

Потом с трудом встал, не глядя вернул стакан и все остальное время стоял не шелохнувшись, пока другие распивали водку, закусывали огурцами, сначала осторожно заговаривая — по словцу, по фразе, а потом, от принятого и раньше, и сейчас, — все шумнее, пока уже оживленно и чуть ли не радостно не загалдели — в конце-то концов это радость и небывалая удача, что там, внизу, лежит не Борис, а другой, и хотя его жалко, что тут толковать, но все же это небывалый оборот жизни, и Борька жив! Жив он, и радоваться надо!

И тут раздался крик. Мужской, поначалу никем не понятый.

— Боря! — кричал голос в подступивших сумерках. — Сынок!

Все обернулись на крик и разом узнали плотного, невысокого человека, который, спотыкаясь, бежал по сугробам, размахивая руками. Это был Хаджанов. Он подбежал к могиле, обнял Бориса, трижды облобызал его и крикнул:

— Боря! Чудо! Это же чудо, Борис!

И заплакал.

Глебку как-то скривило, но он себя одернул. Майор плакал искренне, горько, по-мужичьи, глубоко задыхаясь. Всерьез. Немая пауза закончилась, когда Борис поднял руки и тоже обнял майора. Кто-то поднес Хаджанову почти полный стакан, и он, сверкнув зубами, стал яростно и радостно пить водку, шумно ее глотая. Кадык его ходил ходуном.

— Это чудо! — крикнул он, отшвыривая стакан. И добавил: — Слава Аллаху!

— Слава Богу, — кто-то негромко поправил его в полумраке.

— И Богу слава, — вскричал Хаджанов разъяренно. — Всем верхним силам слава за то, что они вернули Бориса! Всем!

И тут уж народ освобожденно и примиренно зашумел. Кто он, этот Хаджанов — разве имело значение, если Боря вернулся, в самом деле чудом спасенный, и то, что в этот предвечерний миг он стоит у собственной могилы, по народному поверью означает только одно: жить он будет долго-долго, до глубоких седин.

А может, все и не так, если вспомнить, что Борю отпели в часовне?

Может, ежели он отпет и похоронен, но остался жить, он выходит из-под Божьей длани и становится свободным?

Ничьим? Его уже нет, но он есть, и, значит, кому-то другому начинает принадлежать? Кому — без слов ясно.

Но упаси от этого, Боже...

И это ведь все Глебка подумал. Брат, любящий безмерно брата своего.

7

Даже в самую первую ночь Боря дома не остался, ушел к Марине, и бабушка с мамой стали вслух на него обижаться перед сном, даже плакать. Глебка сперва молчал, потом раздраженно заметил им, что брату дыхание перевести надо, прийти в себя, побыть не с родными. Вот и Хаджанов, еще на кладбище, громко предложил Борику поехать в санатории — самое ему там правильное и законное место. Но он же только головой помотал.

— Время, конечно, лечит, — грустно заметила бабушка, — но еще лучше лечит родительский кров.

Но дома-то он проводил почти весь день, под вечер только отправляясь к Марине, когда она забегала за ним после библиотеки.

— Что же, — огорченно разводила руками мама, — так он и приклеился к этой дылде? На голову почти выше... Не пара она ему!

— А если стояла коленками в снегу? — негромко и с трудом спрашивал Глебка. — В чулках своих дырявых! И часами на коленках плачет? А потом пьет?

Женщины умолкали. Видать, им многое говорили дырявые чулки. Вдыхали тихо.

Недели через две Боря стал искать работу. Уходил куда-то все в той же своей офицерской куртке, к вечеру возвращался. Сперва посмеивался — на заводе, единственном государственном производстве, ему предложили поучиться на сборщика, или сесть в отдел кадров, или дежурить в военизированной охране. Но это вообще-то другое хозяйство, и туда надо еще идти договариваться. Хаджанов предлагал идти к нему в помощники по санаторию и заодно тренером в тир. Объяснял, что эти низкие должности ничего не значат, главное, чтобы он согласился помогать и в остальных его делах, а деньги будут. Но что за дела, в которых следует помогать, умалчивал. До поры. Борис к этой поре не тянулся, просто покачивал головой, отмалчивался. И Глебка был с ним солидарен — разве забудешь тот подлый хаджановский разговор?

Неделя катилась за неделей, и Боря как-то постепенно перестал заходить домой каждый день. Заглянув случайно в библиотеку, Глебка не обнаружил там и Марины, а заведующая, поняв его взгляд, кивнула:

— Снова...

В общем, они запили, теперь на пару. Глебка отправился к ним и в ужас пришел. Маринино жилище превратилось в какую-то берлогу — неприбранная, смятая, черная постель, пол затоптан, покрыт коркой грязи, посуда грудится в раковине, а на столе разномастная стая пустых пузырей. Встретили его радостно, как давнего, да забывшего их друга, принялись угощать — все той же незабвенной капустой, и после двух рюмок Борик, светлоглазо улыбаясь, сказал:

— Ну все, братик! Послезавтра!

Глебка не понял, пожал плечами.

— Последнее действие, понимаешь?

Глебка не понимал. И тогда Марина объяснила ему, что послезавтра, как их предупредил военком, приезжает команда из округа. Они откапывают того, кто похоронен под именем Бори, и увезут. А Бориса приглашают вроде как быть при этом — не поймешь при чем: для него — празднике, а для того?..

Глебку всего передернуло от ужаса. И хотя Борис как будто радовался, не мог дождаться конца этой правды, сама она, его правда, была так безнадежна, что даже вот, как бы убираясь из его жизни, разрешаясь, расковыная Борю от своих кандалов, вовсе ведь никого ни от чего не освобождала.

Вот они и пили, спасались. Стушевывали Борины воспоминания, его плен, побег, увольнение. А с ними и его молодое восхождение, его мальчишескую славу и все будущие надежды.

Глебка выпивал с ними, хотя и сдерживая себя, заедал знакомой капустой, и, надо заметить, это ему помогало. Но вот Боря! Он пил водку как воду, по полстакана сразу, но был, казалось, трезвешенек, только, когда мера превышалась, из немигающих глаз его текли слезы. Говорил он одно и то же, повторял, что все кончается, слава Богу. А думал про что-то совсем другое — никак его не утешающее. Глебка считал, что ему просто страшно. Ведь освобождалась Борина могила, занятая случайно другим человеком, и это как будто бы какую-то новую истину открывало. Что-то значило.

Уходя от них, храбрясь, понимая, что он что-то все-таки сделать должен, как-то Борину тяготу облегчить, Глебка сказал, что послезавтра, только пусть кликнут, тоже придет на кладбище и будет вместе с ними.

Дома женщины ужаснулись Глебкиному виду, но когда он неровно пересказал услышанное, вовсе развалились. И хоть брат говорил про послезавтра, прошло дней пять, не меньше, да и случилось все не так, как думали.

Под утро раздался стук в окно, мама выпустила трясущуюся от холода Марину. Уже настал апрель, все таяло, но в четыре утра одеваться стоило поосновательнее, на Марине же все было кое-как. Едва-едва унимая дрожь, она рассказала, что команда приехала ночью, звать Борю не хотели вовсе, но военком послал какого-то подручного, и работа заканчивается, а Глебка — просил, вот она прибежала, чтоб он потом не обижался.

Глебка тоже наспех оделся, и когда прибежали на кладбище, солдаты в спецовках, грязных от глины, но не матерясь, как обычно, а молча и совсем непочтительно вытаскивали из земли запаянный, обтянутый красной тканью гроб, ставший теперь коричневым. Ящик этот скользил в руках, непослушно вырывался, словно не соглашался вылезать, возвращаться наружу, и с трудом его столкнули в другой ящик, побольше, сбитый из неошкуренных досок, споро заколотили. Получился просто короб с непонятным грузом. Его дружно подняли, закинули в кузов, захлопнули заднюю крышку бортового грузовика.

Солдатам дали команду пойти в конторку, там руки хотя бы отмыть. Командовал майор, совсем еще молодой, высокий блондин, чуть постарше Бориса, а с райвоенкомом курил и о чем-то скупно переговаривался полковник, похожий на Скворушкина. Докурив, подошли к Борису. Глеб и Марина стояли рядом, и Глебка видел, как полковник этот протянул руку брату и сказал:

— Ну, прости, лейтенант. Мало тебе досталось, так еще и это...

Борик в рассветном полумраке был совершенно белым: светлое, светлое лицо. Он стоял смирно, не шевелясь. Будто не перед ним извиняются, а, наоборот, его приговаривают. А он слушает приговор. Глебка удивился, что Борис ничего не сказал. Ни звука не произнес.

Полковник вздохнул, повернулся, пошел с военкомом к “газику”, возле которого еще несколько минут они обменивались бумагами.

Грузовик задрезжал от натуги, выехал с кладбища, а за ним “газик” да крытая машина с солдатами.

Потом Боря подошел к могиле. Она теперь не выпирала холмиком — была хоть и комками, но в общем выровнена, потому что опустела внутри.

Только осталась деревянная красная тумба со звездочкой наверху и с блестящей металлической пластинкой, где имя и цифры. Второй раз стоял Боря перед этой могилой. В первый раз — с чужим гробом. Теперь — перед пустой.

— Ну вот, — сказал тихо, — плацкарта забронирована.

Обернулся к Глебке и, будто от него это зависело, проговорил:

— Пусть не занимают.

8

Борис остался ночевать дома, принял душ, лежал чистый, протрезвевший, спрашивал маму и бабушку:

— А может, правда, на завод? Вон Аксель хвастает, что зарплата вполне!

— Да уж проживем, — смиренно отвечала бабушка.

— Но у тебя же высшее военное! — удивлялся Глебка.

— Мало ли как поворачивает! — защищала мама.

Наутро Боря отправился в отдел кадров, чем-то там обнадежился, вернулся, позвал Глебку прогуляться, и они зашли в парк. Возле часовенки, уверенный, что все миновало, ну и по глупости, конечно, Глебка стал рассказывать брату, как тут вот отпевали его и как играли тогда подвыпившие музыканты. Борис будто споткнулся, лицо его потемнело. Он слушал Глебку напряженно, пока тот не спохватился, что не про то говорит, и вообще...

Осекая, попросил прощения, потом сам понял, что Боре это рассказывать было нельзя, запыхал костром. Но тот был смущен чем-то другим. Вдруг сказал:

— А меня и отпевать-то было нельзя. Я не православный!

Глебка тогда еще рассмеялся, спросил:

— Как это?

Ведь бабушка рассказывала, их обоих крестили в самом начальном, еще беспмятном детстве — в большой город возили, не вместе, конечно, а порознь — когда они на свет появлялись, да и нарекли-то их в честь православных страстотерпцев.

Но подумать подольше об этом не удалось. К Борису подковыляла нищая старуха, местная знаменитость, тетя Зоя — в общем-то, никакая она не нищая, обыкновенная пенсионерка, и на жизнь, пусть не в удовольствие, но все-таки, ей бы хватало, если бы она не ходила вечно пропитая. Подошла к ребятам и спросила, почему-то Глебку:

— Это ты Горев Борис?

Он кивнул на брата. Пьянчужка встрепенулась, будто сама же себя укорила, вспомнив, что к чему, протянула Борису бумажку.

Он взял удивленно, была она свернута трубочкой, сразу ее раскатал, прочитал раз, два, смял, сунул в карман куртки, шагнул к старухе, спросил ее:

— Кто? Кто дал?

Тетя Зоя, уже все, видать, забыв, воззрилась на него удивленными и как будто пустыми светлыми глазами, что-то мучительно припоминая, потом обрадовалась:

— Они сказали, придут.

— А кто они?

— Две блондинки. Молоденькие! — Мельком глянула на Глеба. — Как раз для вас.

— Где? — допытывался Борик.

— На автовокзале. Сразу уехали. Не наши.

— Тут же адрес!

— Я к вам и шла, в деревню вашу. Вижу — ты.

Ну и хитра пьянчужка: ведь сначала-то с Глебкой заговорила. Придурялась, хотя знала Борю в лицо — да его ведь многие знали и знают. Может, и про блондинок врала? Это даже Глебка сообразил — нельзя верить ни одному ее слову. А Борис крепко держал за руку тетю Зою:

— Черные? — спрашивал. — Парни черные были? “Юги”? По-русски с акцентом говорят?

Тетя Зоя не вырывалась и не пугалась.

— Говорю же, — сказала, смеясь, — две блондинки. Вот те крест.

И обернулась к часовенке.

9

Боря отпустил пьянчужку, даже извинился. Они пошли дальше. Тропинки в парке были скользкие, полные влаги, и двигаться приходилось, сторожась, чтобы не навернуться.

Зато в кронах еще не распустившихся деревьев грай и гомон стоял невероятный — ремонтных забот, видать, там, наверху, было невпроворот. Все повторялось сначала, обещая новую радость, новых птенцов, и не успеешь обернуться, как деревья покроются листвой, шум птичий слегка поубавится, и снова в траве окажутся слётки — те, кто раньше других оперился, прыгнул в желанную свободу, да силенок оказалось маловато, а перышки коротки. Ах, слётки, слётки, торопливые и неумелые детки, как беспощадно, без всякой на то нужды, оборачивается к вам ваша судьба! И что же тут поделаешь, кроме того, что Боря в детстве своем делал — охранял этих слётков, отпугивал кошек и дурных собачонок, ждал часами, пока не поднимется на крыло безымянное птичье дитя, и упусти день, да что там — час, и трагедия тут же тихой черной молнией пронесется: р-раз, и нет малой птахи, а все окрест тихо и покойно, разве только недолгий материнский, в нижних ветвях, крик раздастся — последний птичий плач.

Братья неспешно передвигались по глинистым скользким тропкам, и Боря спросил неожиданно:

— У тебя верные-то дружки сохранились? Не рассорился? Не разошелся? Как святая троица — надежный народ?

И Глебка, усмехнувшись, решил открыться брату. Рассказал, как подожгли первый киоск, а погодки, теперь студенты, покончили еще с двумя. Благоразумно умолчал о посещении тира и неприятном разговоре с Хаджановым. Помянул мельком, что причиной протеста стало торговое засилье южаков, это доставало семью горевских торгашей, и он, из чувства солидарности, в этом участвовал. Про уличную стычку и “ишачков” даже упомянуть не решился — уж очень это все по-детски бы выглядело. Но Борик слушал его внимательно, пристально Глебку оглядывал, прикидывал, обдумывал что-то свое.

Потом процедил медленно:

— Мне придется тут встретиться... с некоторыми. Зовут на “стрелку”, в город. И мне нужна надежная разведка. Точнее, мне нужно засесть их следы.

Глебка про “стрелку” не понял, но остановился, восхищенный, готовый к немедленному действию. Он нужен брату!

— В общем, слушай, — Борис прислонился к громадной липе, их, в малые годы, любимому месту. — Я прихожу, допустим, к перекрестку. Меня встречает человек, которого я не знаю. Известно, что он будет подстрахован. В разных местах могут стоять еще люди — мужчины, женщины, старухи, как Зоя, или пацаны, как ты. Когда мы пойдем, они будут двигаться тоже. Впереди, позади, сбоку — по-всякому. И вы должны вычислить, много их или мало. Или их вообще нет.

Борис говорил спокойно, и Глебка с гордостью подумал, что брат его не простой человек, а командир по образованию, специалист, военный человек, и сразу видно, что такое положение для него если и не обычное дело, то совершенно не удивительное.

— Да, — продолжил он, задумавшись, — может их не быть вообще. Только вряд ли. Определяйте их, ведите до двери, в какую зайдут, запомните в лицо, а если получится, узнавайте, где живут, как зовут, хотя это вряд ли...

Он опять помолчал, подумал.

— При этом кто-то толковый, только не ты, тебя могут знать в лицо, пусть идет следом за мной и за тем, кто меня встретил. И в этом месте крутится. Ждет, когда выйду я, если выйду.

Он усмехнулся, поглядел в испуганное лицо Глебки, успокоил:

— Да выйду я, куда денусь...

Он вдохнул воздуха, будто к драке приготовился.

— Они из этого места станут расходиться. И не толпой, а по одному. Впрочем, на встрече со мной может вообще один оказаться, однако его с этого места будут провожать. Вот куда он пойдет, там он и ночует. Или живет. Скорее всего, только ночует. У кого? Как зовут? Чем занимается? Если будет невозможно узнать, запомните адрес и линияйте.

Остановился:

— Погодков можно привлечь? Они не разболтались? Не растреплются?

Глебка решительно головой мотнул.

— Ну, а если что-нибудь случится? — Все это время Глебка о Борике думал: — Вдруг тебя бить начнут? Налетят?

— Нет, — выдохнул Борис. — Не начнут. Я кому-то нужен. Я догадываюсь, чего они хотят. А потом... — Он сунул руку куда-то за спину и вытащил будто игрушечный пистолетик — он на ладошке умещался, и перламутровая ручка нарядно переливалась на солнце.

— Маленький, да удаленький, — ухмыльнулся Борис. — А жалит, как Змей Горыныч.

— Поддержать-то можно? — просительно заныл Глебка, и Боря протянул ему завлекательную забаву.

Глеб взвесил ее на руке, потрогал пальцами ручку, вернул. Договорились, что Борик братьев-студентов проинструктирует завтра же — всех и каждого. И он устроил им экзамен, да какой! Они перемещались по улицам и у себя в Краснополянке как бы инсценировали все, что может произойти.

Все и вышло, как они репетировали. Глебку, правда, Боря вообще не решался брать, был уверен, что, если за ним следят, то брата знают в лицо, и это ни к чему. Но младший даже взвыл от негодования: вся компания в сборе, у всех есть поручение, а он будет сидеть дома и “маскировать” ситуацию? Ни фига себе маскировочка!

Борю и в самом деле ждали на перекрестке — там четыре улицы расходятся в разные стороны, по двум трамвай шастает, по двум троллейбус, и еще великое множество автобусов, “газелей”, частных тачек. Боря причалил к какому-то магазину, в него и из него люди прут толпами, кого тут и как можно увидеть и рассчитать?

Петр, Федор и Ефим, крепкие, в общем, мужички, интуицию включали, молодцы, далеко не разбежались, оградили Борю незримым треугольником, Глебка стоял поодаль, будто бы очередь занял в обменный киоск.

Скоро к Боре и в самом деле подошли две блондинки — повыше и маленькая, чего-то ему стали лопотать, он покивал им, поулыбался, не оборачиваясь, двинулся рядом с ними не спеша, обмениваясь какими-то репликами.

На перекрестке разобраться было невозможно, но как только они его пересекли и пошли по одной из боковых улиц, впереди них двинулся амбал боксерской наружности, хотя немолодой, лысый, а позади чернявенький крепыш. Потом Борис скрылся со своими спутницами. Они свернули в переулок, но сначала туда продвинулся лысый. В переулке тоже двинулся народ, но его там было куда меньше, чем на проезжей дороге, и Бороно сопровождение могло быть замечено, однако шли они все очень раскованно, вольно, будто вот тут где-то как раз и живут, и свои, мол, здесь люди.

Чернявенький, кстати, прошел мимо поворота, потом притормозил, закурил, замахал спичкой, будто что-то важное вспомнил, развернулся и в переулок вернулся.

Глебка тоже вступил в переулочек, неуверенно двинулся, и тут же едва слышно кто-то подвистнул ему. В проеме между домами, совсем узком, сверкал глазами Ефим.

— Девки прошли мимо. Боря зашел вон в тот подъезд. Дверь открылась, и его позвали. А мужики сгнули.

Однако другой брат, Федор, все-таки проследил блондинок и даже, по реплике какого-то сердитого старика, выяснил, что были они девицами свободного поведения и проживали буквально через квартал. Петя появился чуть позже, рассказав, что мужики, несмотря на чернявость крепьша, оба русские и между собой знакомые, чего совсем не скрывали и, завернув за угол, сошлись, двинулись рядом, зашли в закусочную, взяли выпивку, совершенно не изысканную — пиво с водкой, и сидят сейчас там как ни в чем не бывало. Правда, на столик выложили мобильники, значит, на связи.

Петя попробовал даже послушать, о чем они толкуют, вошел в закусочную, взял маленькую бутылочку пива для блезиру и ничем внимания мужиков не привлек, но говорили они, можно сказать, ни о чем: кто из футболистов за сколько продается, и всякое такое прочее, при этом речь их была восхитительно бранной. Петя даже удивился:

— Никогда такой густоты не слыхивал! Через каждое, считай, слово — бляха-муха!

Борис вышел не скоро, не раньше чем через час. Не вышел даже, а выдвинулся — какой-то замедленный, и очень тихо, прогулочным шагом пошел в сторону ребят. Как договаривались, за Борей, в обратном порядке, двинулась вначале братская троица, через недолгую паузу Глеб.

Боря подошел к очереди, где Глебка вначале пассив — в обменный пункт. У окошка подвигал руками, обернулся к помощникам, открыто поманил их. Они приблизились.

Боря был опять бледный, как бумага, но говорил приветливо, чуточку шутливо — протягивал каждому по сотке баксов. Парни брали, тушуясь, не зная, что сказать. Он протянул зеленый листок и Глебке. Тот отвел руки назад.

— Ну, хорошо, — не стал спорить Борис, — пошли на автостанцию. Бал окончен. Всем большое спасибо.

В автобусе сидели рядом, не таились. Что-то на самом деле закончилось для него. Что-то важное прояснилось. И неизвестно, радоваться или как? Когда выгрузились, Борис собрал всех в кружок, там, где народу не шибко, сказал, улыбаясь:

— В самом деле, братцы, вы мне помогли. Я опасался кое-чего. Теперь нет.

Оглядел всех внимательно. Как очень взрослый и многое повидавший человек. Улыбнулся:

— У меня к вам просьба. Забудьте об этом. Навсегда.

10

Тут они расстались, и братья отправились домой, а Глебку Боря попросил проводить его не торопясь.

Они подошли к Марининой избушке. Борис распахнул калитку, из щели над окном достал ключ, вошел в дом, не забыв накинуть внутренний крючок. Марина, объяснил, сегодня у подружки на именинах, а ему надо на всякий случай кое-что показать Глебке.

Попросил чуточку подождать в сенцах, ушел в дом, сразу вернулся со стамеской в руке. Встал на колени в углу, вставил ее в щель, поднатужился. Доска, точнее, ее часть, отодвинулась, он ее легко поднял, достал снизу квадратную жестяную коробку от иностранного печенья. Открыл ее — там лежало несколько зеленых бумажек. Он полез в карман и вынул две толстые пачки. Третью протянул Глебке. Тот даже отшатнулся.

Борис чертыхнулся, вытащил из-за банковского пояса десятка два сотенных, сунул Глебке в колени, пояснил ласково:

— Да не тебе это, женщинам нашим, пусть наменяют их на рубли, хоть поедят по-человечески!

Глеб, поколебавшись, послушался. Две полные пачки Борис сунул в жестянку, объяснил:

— Под твой контроль, в случае чего. Ты сюда вхож, я знаю.

Все в Глебке вспыхнуло. Ну да! Это же когда-то должно было выясниться, рано или поздно. Но он трусливо молчал.

Значит, Марина. И вот так они с Борей объясняются. Мельком, мимоходом! Но ведь надо же объяснить, чтобы не было недоразумений. И он попробовал. Сказал было:

— Борик, понимаешь...

Тот говорить не дал, повысил голос, хотя и немного:

— Самое последнее дело, — сказал, — объясняться. Есть вещи поважнее.

И вытащил из-под половицы что-то похожее на длинный рулон. Впрочем, он больше походил на тубус для чертежей — такой Глебка в каком-то кино, кажется, видел.

Боря снял крышку с тубуса и, наклонив его, вытряхнул — с ума сойти! — новенькую винтовку, только не мелкокалиберную — боевую. Снова сунул руку в щель, достал еще одну коробку и запросто, играючи, выхватил из нее оптический прицел.

Щелк, щелк — и в руках у него играла, ходила, приплясывала красивая снайперская винтовочка, ухоженная и даже, похоже, напوماженная чем-то слегка, потому что сияла, сверкала черным вороненым блеском.

Боря глядел на нее как на милую подружку, улыбался, щелкал затвором и был вроде бы совершенно спокоен, но говорил сквозь улыбку совсем другое:

— Продали меня, брат! Одни продали другим! И тут уж ничего не попишешь, иначе... Так что уезжаю на работу. А ты! “Молчи, скрывайся и тай”, — как сказал поэт. Главное — молчи!

Он опустил голову. Не глядя на Глебку, проговорил:

— Никто ничего не знает. Будет удача, вернусь. Деньги для вас. Марина ничего не знает. Ее не обходи, она бедна как крыса. А я...

Он больно схватил Глебку за руку:

— А я грешен, браток! Но! Молчи! Никому не рассказывай. — Боря кивнул на винтарь: — Иначе хана!

Он снял прицел, аккуратно положил оружие на пол, вышел в избу, вернулся с длинной синей сумкой для большого, видать, багажа с надписью “Volvo”, уложил на дно тубус с разобранный винтовкой, сверху положил за чем-то телогрейку.

Унес свой багаж в комнату, опять вернулся.

Глебка стоял с дрожащими губами, готовый заплакать от всего, что случилось вдруг, и от непонимания тоже.

Что брат, похороненный и восстановленный, молодой мужчина, вынесший невзвесть что, говорит с ним не только как с братом, — пусть и с единственным братом, — но и как с ровней себе, таким образом, как с мужчиной же, которому и может только довериться.

Боря обнял Глебку, прижал к себе, до боли сильно, выговорил:

— Не поминай лихом!

И вытолкнул, распахнув дверь, на улицу.

Часть шестая

ПРОБУЖДЕНИЕ

1

Марина прискакала из гостей очень скоро. Явилась, наверное, к себе домой, а Бориса нет, вот она и рванула сюда.

Глебка сразу встал, как она вошла, выключил компьютер, накиннул курточку, шагнул к порогу. На улице как бы мимоходом, о малозначительном чём-то, сказал, что Борик отъехал на несколько дней, совсем неожиданно,

за ним пришла военная машина, и это, конечно, было вранье, потому что Глеб не знал, каким транспортом убыл брат.

Требовалось, он чувствовал, быстро пройти, проскочить через это объяснение, отвлечь Марину, и он улыбнулся, придумав даже для себя неожиданный ход.

— Слушай, — спросил, — а ты знаешь такие стихи... Там есть слова... “Молчи, надейся и терпи”.

Марина вопросительно посмотрела на Глебку. Потом, ничего не прибавив, стала читать наизусть:

*— Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пуškai в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.*

Глебка подумал — это все, но Марина не остановилась. Стихотворение было длинное, и она его знала, да как! И читала-то красиво, будто и не Дылда вовсе, а неизвестно какая артистка. Особенно если, как сейчас, в сумерках — света на улице нет, и она будто размытая тень движется рядом. А голос ясный, выразительный.

*— Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.*

Она читала не спеша, неторопливо, как шли они сами, и Глебка странно себя ощутил — до сих пор такого, с ним не случалось — вроде он омытый чем-то идет, спокойный такой, и каждому слову внимает ясно, хотя раньше таких выражений никогда не слышал. А Марина-то! Она будто преобразилась, и правда став тенью — движется неслышно, ни единого шороха из-под ног, будто плывет по воздуху. И слова стихотворения произносит как заклинание.

*Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..*

Она умолкла, но продолжала двигаться так же бесшумно, той же тенью, словно преобразившись, вовсе не торопилась вернуться оттуда, где была, из стихотворения, сюда, в их обыкновенный городок, на знакомую улицу, на этот тротуар, бывший когда-то асфальтированным, а теперь превратившийся в разбитую, с яминами, неширокую полосу для прохода.

И тут Глебка услышал, что Марина снова зашаркала подошвами, закачалась, как все люди, да еще и чихнула. Чудесное ощущение оборвалось и исчезло, он и себя сразу почувствовал обыкновенным, а вовсе никаким не чистым. Успел, словно хватаясь за что-то, спросить:

— Как это? Мысль изреченная есть ложь?

Откуда-то сверху она улыбнулась — Глебка почувствовал это. Сказала посторонним голосом:

— Еще поймешь.

— Почему? — удивился он.

— Потому что настанет еще твое время. Не гони.

Он не обиделся, такие замечания надо пропускать. Глеб сунул руку в карман, вытащил три сотенные зеленые бумажки, протянул их Марине, сказал нарочито повелительным, строгим голосом:

— Это Борис передал. Велел, чтоб ни в чем себе не отказывала.

Усмехнулся, придумывая на ходу:

— И была в порядке.

2

Дней через пять на Глебкино имя принесли телеграмму: “Встречай посылку с проводником вагон такой-то, поезд такой-то брат”. Была суббота, страна гуляла май, и опять набралась целая куча праздников да выходных, так что Глебка даже обрадовался возможности смотаться в большой город, убить время. Указанный вагон обнаружил, возле него на каблучках притопывала молоденькая проводница, и когда Глеб спросил о посылке, она, уточнив его имя и фамилию, протянула ему корешок квитанции, по которой, оказывается, надо было еще получить эту посылку в багажном вагоне.

Вагон этот был первым после электровоза, походил на амбар с широкими воротами, и в них стоял, зевая, молодой же, как проводница, начальник, что ли, этого вагона, который, приняв квиток, кивнул Глебке в угол, где, окутанная авоськой, стояла здоровенная пятилитровая жестяная банка с иностранной наклейкой.

Глеб поднял ее, вытащил на асфальт, прочитал вслух: “Ballistol”. Тут же помотал головой, разобрал, что это оружейное масло, но куда столько? В тир, что ли? К Хаджанову?

Спасибо еще, что автовокзал в городе впритык к станции, а то бы Глебка пупок развязал. Пер банку, каждые десять метров останавливаясь — не так тяжело было, как неудобно. Встал в автобусную очередь.

Ну и любопытен же народ наш! Увидев банку, чуть не каждый норовил наклониться, разглядеть, чего там написано. Особенно женская половина. Одна бабка выразилась ясней всех.

— Это у тебя, милоч, не подсолнечное масло? Какое-то ненашенское. Бают, всё опять вздорюжат.

— Машинное масло, — отбрехнулся Глебка сдержанно.

— О-о, — махнула рукой женщина, — одне машины у них на уме. Да все иностранные: своего-то ничего не осталось!

И тут вдруг затрещало, задымилось — сразу и со всех сторон. У автовокзала притормозила целая стая мотоциклов с бородатыми мужиками в коже — все сверкает, блестит, грохочет, ничего не слышать. Разговорчивая бабка перекрестилась.

Прямо возле Глебки тормознул мотоциклист — безбородый, ясноглазый. А когда прямо к нему обратился, он понял, что это не парень, а девушка. Почти девчонка.

— Мальчик! — крикнула она. — Краснополянск по этой дороге?

Он только кивнул утвердительно.

Девчонка смотрела на него весело — легкая, уверенная, совершенно не здешняя, и все газовала, не отъезжала, чего-то, может, еще хотела спросить. Потом опустила глаза на Глебкин груз, вскинула их с удивлением снова на Глебку, крикнула:

— Ого! Баллистор!

И врубила свой мотоциклище на полную катушку.

Еще минута, и Глебке показалось, что все это видение просто приснилось ему.

К очереди подкатил, подергиваясь, кособокий “пазик”. Глебка влез вслед за старухой, взял билет и притаился в заднем углу, подальше от входа.

Его трясло как всех — по дороге даже не районного, а поселкового значения, и он, сам того не замечая, прикрыл глаза, чтобы из мрака выступила снова эта яркая картинка: веселое круглое лицо, запакванное наглухо в блестящую, дорожную мотокаску, широченный сверкающий корпус невиданного мотоцикла и, конечно, приветливая улыбка.

Кто она? Сколько ей лет?

Глебка занес посылку Марине — ее не было, но он же знал, где спрятан ключ, поставил груз в сенцах, прямо на секретную половицу, а дома, еще не отдышавшись, узнал от бабушки, что на их Богом забытой улице послышался вдруг страшный рык, и что-то пронеслось бешеной дымной струей. Пока она вышла на улицу, только гарь висела над дорогой, а черное сверкающее пятно улетело в сторону речки. Она смешно объяснила пролетевшее: — Ровно черные кастрюли!

Глебка рассмеялся и, выпив кружку молока, двинул в указанном направлении.

Конечно, и ему бы хотелось подвалить на таком же агрегате, в черной блестящей каске, с черными очками на бесстрастном лице, но он и грошом великом-то не располагал. Так что пришлось легкой рысцой, на своих двоих, под отдаленный гром спешить в детские свои места, давненько, кстати, не навещаемые.

Когда он пересек рощицу и вышел на их горевскую луговину, сердце сжалось.

Взрослые ведь, бородатые в большинстве, мужики на своих черных машинах, выпукливая тучи дыма, выплевывая из-под колес веера земли, разворачивая мотоциклы и так, и этак, будто нарочно, уродовали луговину, еще негусто покрытую травой и цветами. Кое-где на поле стояли лужицы, и почва там была мягкой, рыхлой. Проскакивая такие места, колеса вздыбливали ее вверх, разметывали по сторонам, залепливая тех, кто ехал сзади, но это, похоже, особенно нравилось пришельцам. Самые мастеровитые из них, разогнавшись, ставили мотоциклы перпендикулярно движению, при этом колеса не переставали крутиться, и тогда уж, и правда, машина становилась похожа на бритву, срезавшую глубоко все живое.

Луговина была испохаблена, изрыта, изломана. Земля — перепахана и обесчещена.

Глебке захотелось заорать этим чужакам, что здесь поле, берег реки, еще немного, и оно покроется чудными простыми цветками, без которых не бывает ни красоты, ни лета. Но попробуй — крикни.

Ублюдки в кожаных подперли к берегу речушки, встали неровным рядом на самом краю, не уставая газовать. Сзади они казались черной стайей неземных тварей, которые как будто переговариваются между собой.

Постояв так и полюбовавшись заречными далями, поглазев своими пучеглазыми фарами на прошлолетошные стога, темнеющие вдаль, на округлые березовые рощицы, порывав на крайних тонах и разъярив себя, живая эта черно-прогорклая стая разделилась на множество частей. Первая, самая горластая, найдя сход к воде, осторожно, но уверенно спустилась к ней и, зарывав, зафырвав, с гомоном и воплем вылетела на той стороне речки. За ней кинулись и другие, и через какие-то краткие минуты всё это рычащее воинство летело по бездорожью на другом берегу, тоже весеннему и мягкому, выплевывая из-под колес грязные струи.

Глебка пошел вдоль речки, по любимой их луговине.

Ну, что ему эта земля? За последний год бывал тут, может, пару раз, да и то — мячик попинать. Потом посидеть, поваляться. Ничейный кусок. Просто поле на берегу, покрытое сорной травой, никем ни разу не ухоженное за все время своего существования. Но это было их поле. Поле их детства. Глебка просто любил свой берег, просто радовался травинкам, тут произраставшим, зонтикам и щавелю, прибрежным лопухам со светлой изнанкой, кустикам овсяницы и всем тутошным своим землякам и любимцам — мелким кузнечикам, простодушным бабочкам двух главных пород — капустницам и шоколадницам, майским жукам с зелеными тяжелыми крыльями, залетавшим по весне в эти, в общем-то, не родные им места. Здесь нужно было тихо ходить, тихо лежать, тихо думать, наслаждаясь чем-то неведомым, неопределенным, чему имени нет, но что так прекрасно!

И вот теперь все снесено, срыто, раздавлено. Глебка наклонился, подняв свиток из сухой травы — простенькое птичье гнездышко, а из него выпал

мертвый птенчик. Он не был раздавлен, просто мертвый, неживой, а над Глебкиной головой, теперь во всем его считая виноватым, кружилась и плакала матушка-птаха.

С километр, наверное, длиной было это вспаханное и изуродованное мотоциклами поле и метров пятьдесят шириной. Дальше — вверх и вниз по течению — земля стояла прежней, нетронутой, тихой и шумной сразу — там пели птицы, скакали кузнечики, шуршали полёвки. Притихшее было окружение продолжало существовать как ни в чем не бывало, да и эту землю — Глебка знал истину — через неделю затянет травой, и все, что ей принадлежит, ей же и вернётся. Может быть, кроме этого крохотного птенчика, которого не раздавили, нет, который, наверное, просто от ужаса умер, называемого людьми контузией, шоком, стрессом.

Слезы сами напозлали на щеки.

За что же это? Какое право у них? Вот так, безжалостно, приехать на чужую — ну, пусть ничью! — землю и все тут раздавить, растоптать? Что это за право такое? Кому дано? Тем, у кого мотоциклы черные, красивые, убийственно дорогие? У кого власть? Сила? Деньги?

Ну, а если у него ничего такого нет и никогда не будет, значит — что? Силы нет? Права нет?

Глебка не понимал, что с ним творится. Никогда с ним такого не происходило. Он медленно, спотыкаясь, обошел не свое поле на берегу речки по имени Слестёна, отер свои совсем детские слезы — эх, паренек! — выдохнул глубоко застрявшую в груди детскую тяжесть.

Разноголосый мотоциклетный треск снова возник вдали, быстро приближаясь, — и вот чудище опять появилось в поле на том берегу. Глебка, не чуя сам себя, схватил с земли увесистый булыжник. Наверное, машины снизу, из-под земли его вывернули своими бешеными колесами.

Неполных шестнадцати лет от роду, один, с дурацким камнем в руке против рычащей мотоциклетной своры... Безумие это было. Чистой воды!

И встал-то он неудобно, почти на берегу.

Мощные звери, заляпанные грязью, выскакивали из воды и запросто могли его сбить. Но мотоциклисты были умелые мастера, прямо перед Глебкой, ни слова ни говоря, выворачивали и, сделав несколько метров, останавливались, выключали двигатели. У них появился неожиданный повод передохнуть.

Сказать честно, пыл сошел, и Глебка был готов бросить этот дурацкий, неизвестно как попавший в руку камень, но теперь это выглядело бы смешно. Когда последний двигатель стих, он крикнул изо всех сил:

— Здесь нельзя!

Он крикнул это в сторону каски, которая показалась ему странно знакомой. Лицо водителя закрывали мотоциклетные очки, а нос и рот закрывал косой угол черной косынки.

Тот, кому он кричал, поднял очки и сдернул свой намордник: это была она. Та, с автовокзала. Спросила громко, но вежливо:

— А ты что — поля сторожишь? Колхозник?

Удивительно, но Глебка нашелся что ответить:

— Это! Собственность! — и прибавил от фонаря: — Частная!

Ответ в духе времени.

Светлые брови девицы поднялись домиком. И она спросила Глебку:

— Фермер, сын фермера? — Улыбалась без всякой иронии. Он кивнул.

И тогда она спросила еще:

— Это ты нес масло “Баллистор”?

Глебка кивнул. Девица громко крикнула Глебке и, выходя, всем остальным:

— Приносим извинения! Территория охраняется!

И никакого внимания на булыжник, будто это и должно быть так: парень имеет право встретить мотоциклетную орду с камнем в руке.

Звери взревели, развернулись, плюнули опять гарью и грязью и стремительно умчались. Через минуту о них уже ничего не напоминало. Кроме изуродованного берега.

Еще через мгновение ветерок сдул и гарь. Ясный тонкий месяц присел на черный силуэт дерева.

Новый месяц — новая жизнь.

4

Борис приехал на другой день, без всяких предупреждений. Когда Глебка пришел из школы, брат сидел, развалиясь, на завалинке, выходящей не на улицу, а в огород — легкая куртка, под ней майка с рукавами и каким-то детским лейблом. Был он подвыпивши, но слегка, в руке держал плоскую бутылочку с французским коньяком — сразу протянул ее Глебке, без всяких предисловий.

Глеб отмахнулся, надо было еще уроки учить, да и вообще — десятый класс, а у него все не клеится, но, главное, ничего он не знает про себя: что дальше, куда? Вздохнув, присел возле брата, кое-как поведал ему об этом.

— Вот ты знал, куда шел, — закончил слегка завистливо, — а я ни черта в этой жизни не понимаю.

— Куда шел — знал, — вздохнул Борис, — а вот куда пришел? Не дай тебе Бог... А в жизни и я ничего не понимаю.

Они поглядели друг на дружку, рассмеялись.

— Ничего непонимаки! — придумал Глебка.

— А наша завалинка — ННП, — подыграл Борис. — Ничего непонимательный пункт.

Опять посмеялись. Борик прихлебнул, зажмурился, потом сказал:

— А теперь понаблюдай. Там, в ограде, банка с маслом, которую ты тащил, давай ее сюда. Ну, и еще газетку какую завалиющую. Даже две. Ну, и посудину пластмассовую, вроде тазика.

Пластмассовой Глебка не нашел, а ржавое железное ведро раздобыл, подтащил авоську с блестящей банкой. Борик ее установил вниз головой, отвернул крышку. Оружейное масло полилось густой медовой струей. Но его оказалось маловато. Может, только половина емкости. Боря попросил Глебку ведерко отставить, прикрыть досочкой, потом вынул из куртки десантный нож, аккуратно приставил к краю дна, стукнул ладонью, острие неглубоко провалилось внутрь, и Боря аккуратно вырезал жестяную плашку. Потом опрокинул банку вновь, и со дна вылетел довольно приличных размеров кирпич, упакованный в пластик, потом в картон и еще раз в пластик, совсем плотный, мутный на просвет.

Боря вскрывал упаковочные слои один за другим, и, наконец, Глебка ахнул, не поверив: перед ним лежал брикет плотно упакованных долларов. И в самом деле, похожий на кирпич.

— На, — сказал Борик, — поддержи!

Глебка покачал его на руке — ладонь разом вспотела.

— Сто тыщ! — проговорил Борик, глядя поверх цветов смородины, кустов поднявшейся крапивы.

— Откуда? — попробовал забуриться Глебка, но Борис ему этого не позволил.

— Оттуда! И слушай меня внимательно. — Теперь это уже не брат говорил, а командир, которому надобно подчиняться. — Половину я беру на свои расходы. Унесу к Марине, ты знаешь... Половину спрячешь ты. Но я должен знать, куда. Придумай. И еще...

Он оглядел брата и прибавил:

— Деньги эти опасные. Одним словом, повторяю тебе — никогда ни о чём не спрашивай, никому не говори — ни маме, ни другу, ни следователю, если придется. Никому. Молчи.

— Молчи, скрывайся и тай? — спросил Глебка, чуть-чуть усмехаясь и бравируя.

— Вот именно! — покосился Борик.

Половину брикета он завернул в газету, обмотал бечевкой, спрятал в непрозрачный пакет, и его засунули в поленицу — стояла она, сто раз пересохшая, неизвестно на какой случай, ведь в доме давно был газ, и отопление тоже газовое.

Наколотые полешки приткнулись к задней стенке дома как памятник чему-то прошлому, и напрасно думать, будто неустроенному, нет. Раньше они бы потрескивали в печке, сыпали искрами на пол, посмеивались живым теплым пламенем, разговаривали бы с людьми, на них мечтания всякие навевая, живыми языками пламени даже картины рисуя, образы разных существ — неведомых и знакомых. А газ — что? Синее ровное пламя, много-много маленьких подхалимских язычков, дружно лижущих все, что им прикажут, и без разницы им, кого лизать. Разве это огонь печки? Да еще и русской?

В общем, печки не было, а дрова остались, и братья уверенно сунули туда полбрикета американских денег, денежных консервов, можно сказать, потому что лишь много униженных рублей равнозначны одной этой зеленой бумажке — капустному листку, по точному народному образу. Но у консервов есть польза, кто станет спорить, — главное, чтоб были не отравлены.

Никто — ни мама, ни бабушка, ни, конечно, братья не лезли многие годы уже в поленницу, только разве синицы и воробьи строили внутри верхних звеньев свои гнездышки — да и то ведь надобность эта до известного срока, а вторую половину лета будет в одиночестве поскрипывать старая поленница. Однако здесь не место для схрона, через день-другой деньги требовалось перепрятать, а другую половину Борис рассовал по карманам и, поев бабушкиных нехитрых яств, собрался было отправиться к Марине. Но Глебка, рассказав ему про вчерашние бесчинства мотоциклистов, попросил прогуляться до речки.

Ему хотелось с Борей просто поговорить, побыть вместе, как в детстве. Идти, как тогда, никуда не спеша, всему улыбаться, ничем себя не ограничивать — ни временем, ни целью почти несбыточной, а все же возможной, как та, пусть печальная, охота на соловья.

И вообще! Они так давно не были вместе, кровные и любящие друг друга братишки, друзья не разлей вода, маленький наездник и верный конь когда-то в совсем еще щенячьи времена — отчего же, повзрослевшие и поумневшие, они не ближе становятся друг к другу, а дальше?

Ну ладно, была у Бори учеба, война, плен и эта, невысказанная, страшная история, но теперь-то, кажется, все миновало, и пока он не ушел, не уехал опять куда-нибудь, пока еще нет у него своей семьи — почему же, пока есть еще у них мальчишеская свобода, им не побыть снова вместе?

И вот они пришли на развороченный берег. Борис умолк. Только что он был оживлен, пока проходили сквозь рошу, пустынную как всегда, достал из кармана пачку долларов и подкинул ее несколько раз, подхватывая на лету и смеясь. А тут замолчал, и Глебка понял, что брат все принял, как и он, и вчера бы вел себя точно так же, только не камень бы схватил, случайный булыжник, а совершил что-нибудь посерьезнее... Он рассказывал Боре, как срезали байкеры своими колесами дерн, как разворачивали земляные язвы со стоячей водой, как мотались в диком бешенстве по малому куску пространства, превращая его вот в эту гиблую, печальную грязь.

Боря слушал молча. Потом сказал:

— Вот видишь, Глебка, что творится? Кому-то можно все. Кому-то ничего. Кто-то землю пашет, хлеб в поте лица добывает. А кто-то по ней катается. Кто-то правит. Кто-то подчиняется. Ты беден, а они богаты. Тебя мать учит и кормит, надрывается. А они банками правят, видите ли. Нефть качают! Вкалываем мы, а деньги гребут они! Разве это справедливо?

— А что делать? — спросил Глеб.

— Или подчиниться. Или воспротивиться.

— Но как? — почти крикнул Глебка.

Боря тяжело поглядел на него, усмехнувшись. Потом хлопнул по плечу и одобрительно произнес:

— Ну вот хотя бы так, как ты вчера — схватил булыжник. Не побоялся.

— Да случайно вышло, — ответил Глеб. — И глупо.

— Не случайно, а инстинктивно. И вовсе не глупо. Их было много, а они боялись. Не тебя! Друг друга! Они ничего тебе не могли сделать, пото-

му что это групповуха — впадают по полной. И вообще, они ведь не бандиты. И никакая не сила, хотя и рык стоит! Этим под силу только рядиться. Устрашают! А сила — совсем другое.

Глебка спросил осторожно:

— Сила — это “юги”?

— У себя дома — да. Здесь еще нет.

— А ты? — неожиданно выпалил он.

— Я? — удивился Боря. — Да нет, я просто “дубина”, бич. Мной можно ударить, даже убить. Я, конечно, опасен, но, понимаешь, не сам по себе, а пока я раб и кому-то нужен. А получу свободу — превращусь в быдло. Как все.

Они помолчали. Потом Борик сказал:

— Я вот тут вычитал... Марина принесла одного философа. Так он требует: “Противление злу насилием”. Понимаешь?

Мотнул головой Глебка. Нет, он не понимал.

Вообще-то не на равных они разговаривали. Боря говорил по-взрослому, да еще и недоговаривал — его трудно понять. Почему дубина? Бич? И зачем станет быдлом? Вообще — что такое быдло? А кто тогда Глебка? Быдло или не быдло, наверное, просто пацан. А противление злу — как это?

Думал ли он в том разговоре о деньгах из масляной канистры? Почему они там оказались? Зачем Борис их прислал в багажном вагоне, хотя сам приехал на другой день? Откуда всё это? И при чем тут винтовка в тубусе для чертежей?

Пожалуй, это не совсем так: думал — не думал. Все это в нем давно сидело, было уже частью его, присутствовало каждую минуту, лишь на редкие мгновения покидая, забываясь. Вот и теперь он снова забылся, показывая Боре раскуроченное поле дурацкой битвы мотоциклистов с беззащитной землей. А тот стал выводы выводить, окунул снова во что-то тяжелое, опасное, взрослое.

Но не зря же говорят — устами младенца глаголет истина. Пусть только всего лишь вопрошает. И Глебка, для себя неожиданно, спросил:

— Зачем тебе столько денег? Откуда?

Боря усмехнулся.

— Зачем? Чтобы жить. Откуда? Не дай тебе Бог узнать...

5

Май выдался счастливым: солнце пекло, тихие стояли дни, в школу тащиться страх как не хотелось, а Боря каждый день стал приходиться и звать Глебку прогуляться. После уроков, конечно.

И все в ту сторону, к речке. Сначала по бережку болтались, но однажды Боря снял ботинки, задрал штаны и перебрался по колено в воде на другую сторону. Отстанет от него Глебка, что ли?

Вода была ледяная, все-таки еще май, обжигала, но как же хорошо потом шагалось по полевым, едва видимым тропкам.

Какая же это благодать — идти вот так по полю, ничего не нарушая, обходя гнезда, посмеиваясь полевым птахам, вслушиваясь в жужжание шмелей, вглядываясь в трепет бабочек, жмуря глаза от солнца и вдыхая в себя вольный безыскусный аромат полевых цветов! И эти ореховые заросли, березовые кущи — просто рай какой-то, мир, отчего-то покинувший людей, но сохранивший себя сам, может, до лучших времен, когда народ опять спохватится и поймет, наконец, что он теряет. И что найти сможет!

О чем они только не говорили в ту смиренную, терпкую, распаренную майскую неделю. И как говорили! Совершенно на равных.

Глебка, правда, чаще спрашивал и меньше утверждал, но ведь и у него были свои убеждения. Они, правда, требовали проверки — где же и с кем лучше, достойнее и, главное, спокойнее обсудить их, нежели с братом, который наконец-то никуда не бежит, не торопится, а просто лениво бредет, улыбается, озирается окрест, будто они снова дети и вернули себе ту счастливую волю.

Как-то, стараясь быть участливым, Глебка попробовал посочувствовать брату и что-то нехорошее спросил про тех, у кого он был в плену. Борик не удивился, но странно стал их защищать, сказав:

— Знаешь, как они друг о друге заботятся! Какой-нибудь троюродный внук о пятиуродном дедушке? И виделись-то раз в жизни, а почитают друг друга как близкие родичи. Если что случится, бегут и едут, лекарства везут, барана, деньги отдают! А как старших уважают! Мы уже этак-то разучились. Да и умели ли когда, сомневаюсь! Женщинам у них — это да — тяжело. Все заботы, все хозяйство на них. Но не ропщут. Помалкивают и работают без передыху, без жалоб и обид! наших сторонятся, это да. Мы их считаем дикарями — может быть! Но у дикарей есть свои хорошие правила. Ну, а в нашем-то городе, погляди, как они дружно держатся!

Глеб впервые слышал такое оправдание южакам, да от кого! От Бори, который в подвале сидел, сбежал, а могли запросто убить.

— Могли они тебя убить? — так и спросил.

— Запросто.

— А ты о них так хорошо говоришь!

— Так это правда.

— Но как же ты... — начал было Глебка, желая понять такую братову снисходительность, а тот как-то негромко, устало даже, прервал его и проговорил:

— А я... Ты, наверное, не знаешь притчу про Христа и апостола его Петра, который ему в любви поклялся... И в верности. А Христос посмотрел на него и сказал ему: да ещё петухи не успеют пропеть, как ты меня трижды предашь. Так и вышло.

— Как это?

— Страх, — ответил Борик. — Жуткое это дело — страх, когда не словами тебя пугают, а голову в петлю суют, к примеру. Или к виску ствол приставляют...

Прошёл молча несколько шагов.

— Вот и я, как Пётр. И отныне навеки грешен...

Надолго растянулось молчание. С полверсты прошли, а Глебка всё мучительно думал, о чём это Борик сказал. Не справился с думами этими — слишком тяжкими получались.

Заговорили как бы нехотя, и уже о другом. Про толпу мужиков в кожаных одеждах и на мотоциклах.

— Эта мода к нам из-за океана приползла, — объяснял Борис. — Что говорить, какие там мотоциклы — просто мечта для тех, кто понимает! Эти чудища покрупнее будут, чем какие-нибудь навороченные джипы! Или, по крайней мере, вровень с ними! Да еще Голливуд их раскрутил! Вот и у нас свои байкеры появились. Ты не думай, это не отморозки какие, не шпана, у тех жила лопнет такую технику завести! Это богачи! Суперы! Топы всякие! Или детки ихние, не знают, чем себя занять.

Они и глубже заплывали:

— Слышал такое слово “Бентли”? Сверхдорогая машина! Там-то богатые актеры на них катаются, в крайнем случае, знаменитости. А миллионеры, у них, между прочим, не выпендриваются, как наши, кто до шальных денег добрался. Богатство скрывать надо!

— Таись, скрывайся и молчи?

— Во-во! Тот, кто умен, бирюльки в носу не носит. Скромно одевается. Много не кричит. А у нас, мне кажется, нарочно по-дурацки все делают. И всю свою шелупонь тоже специально так воспитывают. Мол, гуляй, пока богатый да молодой. Ну так вот! “Бентли” — для одних... “Порше” — для других. Мотики для третьих. И никто из них — слышишь! — не пашет, не сеет, не жнет! Ну, а нам-то что? Им — все, нам — ничего? Несправедли-и-иво!

Глебка смеялся, как Боря это словечко растягивает. Был с ним солидарен. Еще как! Так или иначе подбирались к собственному существованию.

— А что с нами-то будет, Борик? — спрашивал Глебка, да и не раз.

И не раз, но по-разному отвечал Боря. Шутя отвечал:

— Станем с тобой миллионщиками! Грабанем банчок какой. Уедем на Канары.

Глебка смеялся:

— Не банчок, а бачок! Сливной! В школьном туалете!

Серьезно отвечал:

— Да на работу надо устроиться, а там, глядишь, повезет, подфартит, что-нибудь выпадет наудачу.

И совсем печально говорил:

— Не знаю, братишка! Ничего-то я не знаю! Будто повязали мне на глаза черную повязку! Все слышу, все понимаю. Ничего не вижу.

6

Для Глебки это был конец десятого класса, впереди — последний, с экзаменами и с окончательным выбором: куда дальше-то грести? Борик его слегка подутешил, мол, вспомни, что у тебя в поленище, за это можно не только в платный институт поступить, но и диплом купить. Неважно, что тебе вроде мало лет — плати деньги, и ты в дамках! А уж ежели не пождишься, то и диссертацию покупай, даже докторская, толкуют знающие, полсотни кусков в баксах. Да, цена хорошего автомобиля, но ведь машина-то изнашивается, поржавеет, постареет, а этакая корочка на всю жизнь. Конечно, он пошучивал, подъелдыкивал, но ведь и правду толковал.

— Чего же, — удивлялся Глебка, — богатенькие-то не торопятся? Ведь всех своих чадушек, поди, могут запросто отоварить?

— Могут, — смеялся Борис, — и отоваривают, не боись. Только втихую, не так просто, это тебе не магазин, хотя и лавка. Такие дела лишь посвященные клепают. В тишине. В великой тайне.

— Чего же мы-то не посвященные? Потому что деревенские? Без бла-ту? Без связей?

И выходило, что если по-честному, так Глебке и ходу нет. Не было у него никаких ни к чему страстей — ни к точным предметам, там везде трояки, ни к неточным — и там коли даже четвертаки, так натянутые, за счет речи и языка, которые были не шибко умны и вычурны, но зато бойки, особенно ежели надо спастись.

Глебка знал — в истории там или литературе, коли слаб, забалабонить надо! Голос повысить. Вспомнить вообще все, что знаешь, и плести без огляду — смотри-ка, и выпадет четвертинка вместо угрюмого трояка. Кураж тут и скорословие все же имеют свою власть, а может, усталая учительница заслушается этим торопливым словоблудством, задумается о чем-нибудь своем, упустив нить ученического повествования, потом опомнится, встряхнется — о чем это он? — да махнет рукой, э, живи, мальй, мели, Емеля — твоя неделя. И правда, не раз вывозило Глебку это его если и не умение, то вроде как нахальство: главное — громко, уверенно, вперед!

И все же, думая о себе откровенно, знал Глебка, что нет у него, как и у многих других соседей по классу, ни к каким ученьям особого интереса — спасибо, родная школа...

Правда, интересы все же были. Первый — это, конечно, компьютер, интернет, вездесущая “мышь”. Второй интерес — книжки. И это было благом для подросткового Глебки, потому что остальные-то миллионы, на диванах домашних, на стульях и прочих присестах беспривязно воспитывались однооким чудищем, которое глазом своим квадратным не только вглядывалось, сколько само себя разглядывать принуждало, предьявляя всякую чужь. И хоть цвет глаза этого считается голубым, на самом-то деле он мрачный, и хоть слово это вовсе не цвет обозначает, а состояние души, — именно этим состоянием и обесцвечивало чудище всех, кто в него вглядывался, уравнивая при этом между собой подряд тех, кто не имеет иммунной прививки — и способных, и умственно больных, и удаленных, и неподвижных душою — всяких-всяких, почти всех.

Мрачный цвет смысла выравнивает молодняк, научая одинаково глядящих одинаково же понимать и думать, одинаково выражаться, одинаково смеяться и даже похоже плакать.

Глебка нередко разные фантазмагории выдумывал, и была среди них такая. Вот бы взять, да хоть на пять минут, мысленно, разумеется, снять крыши со всех домов и убрать стены, оставив одни опоры — в один и тот же час, когда, допустим, те же смехачи-юмористы забавляют нацию.

Представить только — сверху, сквозь крыши, с боков, сквозь стены, ставшие прозрачными, видно, как хохочут сразу миллионы людей. Помирают от смеха! Ржут! Эткими гигантскими, миллионнолюдными приступами регочет целая держава! И гляди — к молодым, бездумным, глупым, наивным присоединяются пожилые, старые, опытные, кажись, наученные коллективным радостям в иные времена — вон и эти, будто щекочет их счастливая действительность, туно хохочут, как и сопляки.

Вся страна хохочет. Ржет. Валится друг на друга. Во зрелище!

Глебка этот всенародный хохот считал наркотиком, не иначе. Или гипнозом.

Он пытался представить себе всемогущего гипнотизера, управляющего этими приступами, но никак не получалось. Сидит на троне где-то в небе с длинной бородой, как у Хоттабыча? Ерунда. Вроде киношного злодея ходит перед пультом с цветными кнопками? Тоже чушь. Но где-то он все-таки таится, этот гипнотизер, если сразу миллионы хохочут, будто ополоумели.

И страшно вдруг делается: а если все враз заплачут? Что будет?

Глебка, конечно, телик глядел, как и мама с бабушкой, как и все. Но иногда отключался, думал, что от усталости, на самом деле — спасаясь. Уходил на улицу, если тепло, листал книги, а потом и газеты, не брезгуя старыми, и, точно петух, искал в навозной куче жемчужное зерно. И находил.

Чтение лучше всего выводило из организма отраву непрерывного зрелища, оставляло один на один с собой и с тем, что читаешь, вопросы придумывало — ищи, мол, ответы. И как-то незаметно выходило, что Глебка от других чем-то отличался. Не сторел, может быть, до конца под телевизионными лучами, не обкатывался, как все, в похожий на других пустоголовый гольши, а малость, пусть на самую чуточку, себя сохранял.

7

Между тем Глебка разделил Борины деньги на пять частей — в каждой пачке по десять тысяч баксов — и в сумерки закопал четыре из них в четырех же углах огорода, для чего заранее покупал своим женщинам конфеты в жестяных красивых коробках. Они коробками восхищались, конфеты экономили и жалели, и Глебу приходилось пускаться на всякие хитрости, например, высыпать содержимое в вазочку, а коробку прибирать под якобы нужные ему мелочи — карандаши, резинки, прочую ерунду, ссылаясь при этом на щедрость старшего брата.

Сошло, хотя и мама, и особенно настойчиво бабушка не раз спрашивали Глебку, куда это подевались те замечательные коробочки и какая это неправивая жалость, что у него, у мальчишки, все не в цене, куда-то он их подевал, выменял, выбросил. Бабушка при этом приводила выдающийся исторический пример: еще отец ее мужа Матвея Макарыча, значит, Глебкин прадед Макар Степанович, в самый разгар революции оказавшись в Петрограде, купил детям жестяную коробку с ландринном, так она — вон, до сих пор жива и ничего ей не делается, потому что когда люди бережливы, то вещи их переживают, а так оно и должно быть в силу истины и справедливости.

Коробка из-под ландрина — а что такое ландрин, Глебка не знал — действительно стояла на верхней полке буфета, издали радея глаз. На ней была изображена деревенская улица, по которой идет, в окружении красивых крестьянок, чубастый, улыбчивый гармонист. Таким и представлял Глебка своего прадеда. А заодно и деда.

Пятую пачку он обернул непромокаемым пластиком, перетянул резинкой и засунул под оконный навес, обращенный в тот же огород. Это предназначалось на расходы по усмотрению, как приказал Борик, всей семьи и самого Глебки. Он вообще разрешил распоряжаться капиталом свободно, но при условии, во-первых, крайней необходимости и, во-вторых, незаметности.

Вот это, второе, требование скоро исполнить понадобилось. Поменяв деньги в обменниках раз пять, да и всего-то по сотне, Глебка понял, что девицы, там сидящие, уже его запомнили, потому что улыбаются. Может, они вообще всем улыбались, работа такая, но, глянув на ситуацию со стороны, он напрягся, ведь в городке немного, пожалуй, школьников, регулярно меняющих доллары на рубли. Вот и все. Требовалось придумать что-нибудь другое.

И он придумал. Тем более, это вполне даже совпадало с потайным его интересом: ему хотелось снова увидеть ту мотоциклистку, лучше без мотоцикла, посмотреть, как она выглядит и чем занимается... Ну, хотя бы опять поговорить. И он стал ездить в большой город. Минут сорок туда, столько же обратно. И уж там этих обменников — на каждом шагу.

Он брал бумажки три-четыре и менял их в разных местах. Придумывал разные маршруты, заодно получше узнавал город. Даже разок спросил у парнишки, похожего на себя, по крайней мере, одного возраста, тоже, наверное, школяра: не слышал ли он что про тутошних байкеров.

Тот ответил, что пролетят иногда, напортят воздуху и тут же исчезнут, потому что у них были осложнения с властью — то ли они кого-то сбили однажды, то ли, наоборот, грузовик сбил мотоциклиста. В общем, Глебке не везло, но он не очень и горевал, потому что с трудом мог вообразить эту встречу. И что за разговор у них мог произойти? О чем?

Прогулки с Бориком, коктейль из книг, интернета и телевизионного шума, детские наивные мнения и фразы взрослых — все, что, в общем соединяясь, и представляло собой его наивный жизненный опыт, лишало Глебку иллюзий и надежд, по которым раньше считалось, что все люди равны. А если и не равны, то только лишь своими дарованиями — голосом, музыкальным слухом, умением и любовью запросто, будто орешки, щелкать задачки, недоступные другим, конструировать какие-нибудь приспособления, слагать стихи или просто хотя бы уметь держать рубанок, отвертку, молоток, отличаясь от других вроде как второстепенной, но ох как ценной мастерovitостью. Сейчас людей разводила какая-то иная, новая сила, где ни ты, ни твои таланты ни при чем, а все решают связи, умение оказаться в избранном кругу, даже особенная, от других отличающаяся речь.

Но какую бы речь повел он с девицей, летающей на дорогом, обалденном мотоцикле?

8

Удивительное дело, все это время Борик не общался с Хаджановым. Зашел раз-другой в тир, вернулся молчаливый, никому, даже Глебке, ни слова не сказал. И как будто забыл свою “альма матер”. Тренер тоже словно растворился в санаторских куцах. Раньше по магазинам шастал, речь его громкая слышалась то тут, то там. Теперь не слышно, зато киоски растут, как опять парной осенью.

Уже, кажется, в таком-то и таком-то месте никто не ходит и покупателей не окажется, но — нет, сколотят четыре стенки да крышу, набьют под самый потолок разной ерундой — от “швепса” и водки до шоколадок да жвачек, и даже тупик, неходовое раньше местечко, вдруг растоптанным оказывается, расхоженным — получается, людям везде и всюду требуется этот бросовый, в общем-то, товарец далеко не первой необходимости.

И все уж теперь знали в городке — это хаджановское, майорское. Никто киоски эти больше не поджигал.

Тем временем, и это было в июне, Борик опять исчез. Вернулся очень быстро, дня через четыре, но весь в свежих коростах и синяках, будто его кто-то сильно бил или откуда-то он упал, может быть.

Мелькнул на несколько часов и опять пропал, теперь вместе с Мариной.

Вернулись они через три недели, загорелые и веселые, никаких ссадин и синяков, даже царапин. Пожалуй, в те несколько часов Бориса только и видел кто, так это Глебка, ну и, понятно, Марина. Так что ссадины и синяки никто не запомнил.

Вернувшись, как он сказал, с отдыха, от моря, Боря был весел и бодр, но Глебка сразу почувствовал, что бодрость эта натужная, а брат делает только вид, будто все в порядке. Лезть с расспросами не стал, но понял и так, что какое-то Борино дело не просто сорвалось, а обломилось. Может, радуется только тому, что ноги унес?

Они опять ходили по своему бережку — теперь его окончательно затянула трава, цветы полевые, и снова там скакали кузнечики и гнездились певучие птицы. Но Глебке казалось, что все же иной стал этот кусочек земли. Сломанный.

Борик говорил как и прежде, и через речку они перебирались снова и теперь, уже в полное, теплое лето бродили там пешком, а Глебка просто явно чувствовал разницу между тем, что сейчас, и тем, что было у них с братом так недавно.

Тогда они соединились, как в раннем детстве, а теперь, ни слова дурного друг дружке не сказавши, стали как чужие. Боря о чем-то мучительно думал, что-то соображал, но и Глебка ни слова не сказал откровенно, по-братски.

Какая-то между ними пролегла новая полоса. Может, мертвая?

Один лишь раз поведал Боря байку про Иностранский легион. Есть, оказывается, до сих пор такая полуполюгальная, наемная, частная армия, а в самом начале была она французской и называлась Французский легион. Брали в нее отважных бойцов, отпетых головорезов, платили им огромные деньги и бросали на самые сложные операции. Например, президента какой-нибудь чернозадой республики сбросить, а на его место поставить короля, даже императора. Или, напротив, короля сбросить, президента поставить. Кто больше заплатит. Их нанимали и на дела попроще — например, убрать одного мафиози в пользу другого, и наоборот. В общем, использовали и, что самое интересное, используют этот легион до сих пор в целях нелегальных, чаще всего необъявленных. А нанимают их втихую, конечно, разные силы — от государств до богачей, и вообще тайных сил. Легион этот в кучу не собирается, бойцы живут порознь или маленькими кучками, обладают мощной связью и, когда надо, собираются в боевую единицу просто мгновенно. У всех контракты. А за кровь, за победы, за собственные раны, ну и, конечно, за жизнь — особые, сногшибательные тарифы.

— Ей-Богу, я бы туда рванул, — сказал Боря, — да вот беда! — И он показал на шрам от своей раны. На рассказ этот про Иностранский легион Глебка усмехнулся:

— Сказки Шехерезады.

— Ничего подобного, — вяло, даже не возмущившись, возразил Боря. — Не просто реальное, а вполне законное дело. Надо только от российского гражданства освободиться. Русские там есть. Но официально их не берут. Так что не получится... Надо здесь.

Но что — здесь? Это оставалось за ширмой, за кулисами, в тумане.

И вот он снова ширкнул в этот туман. Раз, и исчез. Опять прибежала Марина, спросила, где Боря, и горько заплакала.

Новым, недетским взглядом смотрел на нее Глебка. Поднималось в нем новое, раньше неизвестное чувство — жалость к этой женщине, понимание ее одиночества, ее страха за любимого, который, исчезая, всякий раз как будто репетирует уже сыгранное однажды — свою гибель.

Глебка подошел к Марине. Она сидела на стуле.

Без всякого стыда, без игры, искренне и горько, он обнял за голову эту угловатую женщину, и как седой старец, а может, даже священник, уполномоченный самим Богом утешать и снимать со страждущих боль, поцеловал ее в макушку.

9

Дальше все не просто побежало, а полетело.

Как ни в чем не бывало, снова появился Борик. Быстро вернулся из таинственных своих нетей, всего-то через два дня. Даже бабушка, даже мама не пытались с ним толковать про его отсутствие. Несколько раз он их обры-

вал — грубо, солдафонски, как будто на минуту выскочил из Бориса другой человек: обляял родных и спрятался обратно.

Он вошел в дом, как будто выходил в ближний магазинчик за пивом, — да он с пивом и явился. Держал в обеих руках по бутылке.

Вошел, кивнул, сел, открыл бутылки, опустошил одну за другой. Мама была на работе, Глебка обученно молчал, бултыхаясь в интернете и опасаясь заводить разговор первым, бабушка всхлипывала на кухоньке.

Потом Борик махнул рукой Глебке, они отправились к речке. Только там он будто отворился, заговорил, как ни в чем не бывало.

— Я сейчас у Хаджанова был, — сказал он, — внес двадцать тысяч баксов авансу. Он большой дом начинает строить, покупаю квартиру, однокомнатную, на имя Марины, понимаешь?

Глебка кивнул, хотя, конечно, не понимал, ведь у Марины-то есть свой дом.

— Если что, — проговорил Борик, — ты об этом знай, но сам не распространяйся. Женщинам не говори.

Прошли несколько шагов, он будто выдохнул, наконец, улыбнулся, точно только сейчас в себя наконец пришел. Сказал облегченно:

— Ну, вот!

А что — вот? Молчит, не открывается, значит, другим знать не положено. Борик, наверное, слышал, что Глебка думает. Сказал:

— Многая знания — многая печали. Кажется, так в Библии пишут. В общем, лучше тебе не знать. Легче жить.

— Я не маленький, — попробовал возразить Глеб.

— А это и старенькому не надо знать, — улыбнулся, приговорил: — Живи легко.

Когда возвращались, Боря сказал:

— Я там еще кое-что подвез, понимаешь? Завтра занесу.

— Машинное масло? — усмехнулся Глебка.

— Просто мешок. Из-под сахара. Небольшой такой.

Но он ничего не занес. Ночью где-то вдалеке завывала пожарная сирена, и хотя Глебка слышал этот вой, совсем не обеспокоился. На рассвете постучали в окно. Открывала бабушка, еще в ограде она и заголосила. Мама с Глебкой выскочили, едва одевшись.

Там стояли два незнакомых мента. Немного смущаясь, они сказали, что сгорел дом Марины, и случайные, а может, и не случайные прохожие пояснили, что там мог быть и Борис, официально прописанный у матери.

Не сразу Глебка понял, что дом сгорел дотла и в живых никого не осталось. Как были — едва одеты — они с мамой побежали на пожарище. Красная машина как раз отъезжала, облитые водой мокрые головешки еще коптели, но дома не было. Странное зрелище: пустота вместо того, что занимало не маленькое все же пространство.

К ним подошел еще один мент, похоже, из пожарных начальников, объяснил:

— Трупов не обнаружено, но кто тут ночевал, кроме хозяйки? Ваш сын?

Мама кивала, утиралась какой-то скомканной тряпочкой. Раз ничего такого не обнаружено, это слава Богу, но где же тогда они? Ведь должны бы прибежать домой.

Мама так и сказала этому человеку, и он, согнувшись, прямо на коленке, записал короткие ее показания. Не обращая внимания на Глеба, дал ей расписаться, пояснил, что никакого дела, раз нет пострадавших, заводить не будут.

Дядька сказал при этом, что дом сгорел слишком скоро, пламя шло одинаково со всех сторон, очень похоже на поджог. Но, может, это хозяева и подожгли? Такое предположение маму возмутило, она обиженно замахала руками; пожарный ее остановил, сказав, что надо кому-то с местной властью договориться о судьбе этого пожарища — был ли дом в собственности? Да и земля?

— Кто это должен сделать? — спросила мама.

— Ну, родственники, если хозяйка не найдется.

— Родственников у Марины вроде нет, — неуверенно ответила мама.

Все было смутно, невнятно. Куда они делись? Что произошло? Их подожгли? Или сами? Но это была совершенная ерунда, и хоть Борик сказал про свой взнос на однокомнатную квартиру, до этого, как понял Глебка, было ведь еще далеко.

Мама не пошла на работу, а Глебка в школу.

Вернулись домой, кое-как поели, оделись и снова пошли к пепелищу. Взяли с собой палки, раздвигали ими головешки — они все еще дымили; выбирали какие-то несгоревшие вещи, например, черные обожженные кастрюли, складывали в небольшую жалкую горку, потом Глебка спросил:

— Зачем, мама?

Она разогнулась, посмотрела на сына.

Взрослея, Глебка не вглядывался в мамино лицо, не задумывался над тем, как мама выглядит, сильно не прислушивался к тому, что она говорит. Мама, она и есть мама — для того, чтобы всегда быть рядом, говорить то, что ей положено, подгоняя и наставляя. Да и зачем в мамино-то лицо вглядываться, если оно всегда рядом.

А тут Глебка вгляделся. Оно было испачкано сажей, видно, утирала щеку. И на лбу была черная полоса. Ясно, что брала она жалкий Маринин скарб, потом рукой по лбу провела. Но Глебке показалось, будто мама почернела от горя. И было еще у нее выражение потерянное, безнадежное. А глаза полные слез, вряд ли от дыма.

Глебка смотрел на маму — постаревшую и почерневшую, со слезами в глазах, и она сказала ему тогда:

— Неужто и впрямь вы, сыночки мои, страсотерпцы не только по именам вашим? Неужели я родила вас на беду вашу?

Едва удержался Глебка, чтобы не зареветь. Он отвернулся от мамы, сделал несколько шагов по остывшим углям и вдруг понял, что стоит на том самом месте, где было у Бори потаенное хранилище.

Он огляделся, нашел какой-то железный прут, подцепил обгорелую половицу, вернее остатки ее, вывернул ее с трудом и увидел тубус. Наклонясь, стараясь загородить находку от мамы своей спиной, он раскрутил его. Винтовка была на месте. И коробка с прицелом лежала рядом. И еще одна коробка лежала, но она оказалась пустой.

Ночной пожар людей еще интересовал, они подходили, отходили, близко все-таки не приближались, раз какие-то двое копаются в головешках — значит, имеют право.

Мама с Глебкой из дому захватили мешки из-под картошки, целых четыре. Еще несколько минут назад Глебка предлагал маме оставить тут все как есть — разве имели цену эти железки? Но сейчас он первым стал наполнять один такой мешок. Опустил на дно коробку с прицелом, а потом засунул и тубус с драгоценным его содержимым. Туда же засунул обгорелые кастрюли. Приговаривал вслух:

— Вот вернется Марина, хоть какая посуда будет у нее. Ты, мама, молодец.

Два мешка они уволокли. Когда стемнело, Глебка вынес один из них в огород — в нем лежали оружие и прицел. Быстро, норовя никому на глаза не попасться, прошел к речке, добрал до края родного лужка, туда, где начиналось настоящее неудобье, но и речка была глубже, и напротив дряхлой коряги бросил в воду железный груз.

Он ушел на дно, мгновенно выпустив воздушные пузыри.

Вода будто поглотила Борину тайну.

10

Глебка долго сидел на крутом берегу, свесив ноги к воде. И хотя всё вокруг него в светлой летней ночи как будто едва шевелилось — дыханием, крылышками, лапками и еще чем-то очень маленьким, — это, может, кузнечики наконец-то вытягивали вдоль тела свои худые, уставшие, наскрипев-

шие за день ноги, — Глебка чувствовал себя глухо, одиноко, будто оказался на дне черного колодца.

Не верил он ничему и никому, но прежде всего любимому брату Борикку. А раньше во всем и всегда ведь верил!

Когда маленькими были, Борик, кажется, за всю Глебкину жизнь ответственность на себя принимал. Но куда все это уплыло, спряталось? Неужто просто взрослое время такое? Оно самых близких разводит, отдаляет. Любовь превращает в простой интерес, в лучшем случае оборачивает заботой — на тебе денег, на — подарок, на — новые джинсы. То, отчего людям реветь и драться хочется, вдруг превращается в промтовар, будь он проклят!

Глядя в темноту, Глебка будто старался разглядеть не что-то конкретное, а правду и жизнь. Пробовал объяснить себе, что же произошло с того самого звонка по мобильнику...

Да, какая-то чудовищная беда. И не сказал ведь о ней Боря ничего серьез. И те страшные похороны чьих-то останков. И прощание навеки с Борей — горе горькое, пройденное по полной, на всю тысячу процентов. И вдруг чудесное исправление жизни — за чей-то счет. Ошибка, которая бывает раз на сто, может быть, тысяча, а может, и реже.

Но дальше, дальше?... После этой невидимой отсюда войны, после возвращения, когда, казалось, все слава Богу? Ведь не слава же Богу, а наоборот! Что-то настало новое, тайное, страшное, может, Господи прости, страшнее, чем самое страшное.

Из Глебкиной головы никогда не исчезал этот телевизионный сюжет: убит банкир, кажется, Канор. Или, может, Кенор. Сколько и каких только убийств не показывают по телику, и все уже привыкли, никого это не страшит. Если вдуматься, смерть вообще стала с людьми запанибрата. Вон ящик извещает: сорок тысяч людей покончили жизнь самоубийством! За один год. И еще твердят, мол, не волнуйтесь, показатели снижаются! Так что там какой-то один банкир, совершенно Глебке неизвестный! Телевидение показало: лежит человек в снегу, а рядом бегают его собака. Значит, стреляли издалека. И Борик как раз тогда исчез первый раз со своей винтовкой. В ответ ему прислали машинное масло. А он явился, как ни в чем не бывало, следом. Глебка закопал деньги в четырех углах огорода. И нельзя хоть о чем-нибудь спрашивать Борика — бесполезно! Кто откроет его тайну?

Ну, а почему надо связывать его поездку с тем банкиром? Может, он совсем по другим делам ездил? А сто тысяч? За три дня? Но ведь и банкир-то тот миллионщик, почти олигарх, за него бы больше, небось, заплатили?

Да сто тысяч можно же, наверное, и за другое получить! Выиграть в казино или как оно там? Взятку получить. Но Боре-то за что? Чем он управляет и за что такую взятку?

А в общем, ясно было, будто никакая сейчас не ночь, а ясный день: снайпер получает большие деньги за снайперские дела. А если его лупят и он ноги уносит откуда-то — то ведь тоже за снайперские дела. Видать, не попал, или вовсе не стал. И дом загорелся сразу с четырех сторон — тоже неспроста: кого-то раздосадовал. Или чужую тайну держит, значит, ее надо зарыть, эту тайну. Сжечь.

Понял только сейчас по-настоящему Глеб, зачем Борик завел речь об Иностранном легионе. Там все это происходит в открытую. Почти официально. Да если и не официально, то там ты не один, а выходит, у тебя есть поддержка. Здесь-то он одинокий волк, если все, что навывдумывал Глебка, правда.

Его передернуло. Он представил, что целится в человека. Через этот оптический прицел. Человек бежит по дорожке, рядом брыластый боевой пес, который близко никого не подпустит, а выстрел прозвучит как негромкий хруст ветки в лесу...

Глебка задумался, себя проверяя и переспрашивая.

Опасно? Конечно.

Ужасно? И с удивлением сказал себе: нет!

Сколько еще бегают их, этих банкиров! И пока они существуют, всегда будет, наверное, спрос на их наказание — ведь наверняка все они жулики,

и вокруг них, пожалуй, целая толпа тех, кто хочет, чтобы с ними поделились.

Так что Боря просто как бы стрелковый работник, вроде того. И почему, собственно, не может быть такой должности? Пусть редкой, не на каждый день. Вон прикатили же мотоциклисты, разворотили их бережок, поубивали все живое, от кузнечиков до птенца малиновки, а чем они лучше всех — эти богатые! Всякие там рокеры и брокеры!

Глебка спросил себя во тьму:

— А ты бы смог?

Очень хотел он, даже старался ответить — да! Но он же сам себя спрашивал, в ночной темноте, один на один, и врать, опять же самому себе, никто не требовал.

Хотел сказать самому себе — да. Но только вздохнул.

Хотел домой идти решительным, мужским шагом, Бог с ними, этими кузнечиками и бабочками, если захрустят под ногами — но пошел осторожно, нарочно пошумливая, и какой-то случайной веточкой потыкивая в траву перед собой, упреждая малую тварь о своем движении во тьме.

Вышел на растоптанную дорогу и вздохнул облегченно. Но на душе еще тяжелее стало.

Не знал Глебка, как жить.

Часть седьмая

НЕ БОЙСЯ, МАЛЬЧИК!

1

Снова время съежилось, остановилось, как после похорон запаянного гроба. Мама с бабушкой ждать не уставали, видать, уж так устроены женские сердца, а Глебка внушил себе, что все кончилось. Откуда явилось к нему это почти твердое убеждение, он не знал, а просто физически слышал, как внутри него что-то с болью сгорает, что-то обламывается и проседает, образуя пустоту — знак одиночества. Знак утраты.

Он тайком, беспричинно вроде, плакал, узнав, что плач бывает сухой, без слез, похожий на подвывание — поначалу беззвучное. Вдруг в самом неподходящем месте и в неожиданное время начинаешь чаще дышать, где-то в бронхах скапливается пробка застоялого воздуха, и когда пробуешь вытолкнуть ее наружу, она не выталкивается, становится душно, нечем дышать. Он хватал воздух ртом, глотал его, и это будто бы раскачивало его, наконец, легкие впускали порцию кислорода — вдыхая, он тут же делал выдох, и это его сгибало, раскачивало, звук, похожий на стон, рвался из горла, и он хыкал, давился, снова хыкал.

Из него выбирался придушенный звук, который лучше бы не удерживать, а отпустив, крикнуть. Хорошо бы заплакать, но что делать, если не получается?

И вот выходит, что мучает его это хыканье, душнота, потом подвывание, иногда срывающееся в крик, а то и в рык. И слезы без слез. Плач, похожий на вой. Какая-то нехорошая примета, предчувствие произошедшего вдалеке.

Отлетали в минувшее не недели, а месяцы, заканчивался одиннадцатый класс, и военкомат выдал Глебке, после разных комиссий, белый билет, потому что у него оказалось плоскостопие.

Примерно через год после пожара, вернувшись с работы, мама сквозь слезы сказала, что Хаджанов просит с нее двадцать тысяч, да не в рублях, а в долларах, потому что, оказывается, Борик внес такую же сумму в виде аванса за однокомнатную, правда, для Марины, квартиру. Наставало время: или доплатить, или забрать аванс. И маме ничего не оставалось, как забрать то, что дал Борик, — откуда у нее такие деньжищи?

Глебка страшно заругался, почти как Боря, когда его сшибало время от времени — даже позволил грубые слова. Мама непонимающе поразилась, утёрла слёзы:

— Да ты в уме ли, сынок? Где мне взять-то эти двадцать тысяч?

— Это мое дело! — воскликнул Глебка.

Когда стемнело, раскопал две коробки, вынул отсыревшие сверху пачки, отдал их матери.

Не стал вдаваться в разговоры. Сказал строго:

— Боря велел!

— Откуда ты знаешь? — попробовали было мама, а Глебка оборвал ее, повторив:

— Боря давно велел!

Кроме этой квартиры, легла на них еще одна забота — пожарище. Мама то ли сама куда ходила, то ли ее опять вызывали следователи, но ей удалось, сказавшись дальней родственницей, восстановить Маринкины документы на владение сгоревшей избой, но главное-то — землей. А раз так, то за землей этой требовался уход. Короче говоря, или стройся, или продай, а сейчас нужно было участок очистить от мусора, головешек и заплатить какой-то налог.

Мама выпросила санаторский грузовик, уговорила двоих охранников, и они за обычную русскую плату — сколько-то там бутылок — все собрали и отправили на свалку.

А раз было это еще по ранней весне, то к окончанию Глебкиных экзаменов, к концу июня, усадьбу крепко затянуло крапивой, репьем, иной всяческой растительной заразой, заодно скрыв уродство пожарища. Забора теперь не было, так что скоро участок стал местом проходным, по нему жильцы соседних больших домов протоптали тропинки, и о куске Маринкиной собственности почти все забыли.

А тем временем мама с бабулей наперегонки заводили с Глебкой разговор о его будущем. Но он бычился, опустив голову, морщился, уже сказав однажды: раз в армию не возьмут, торопиться некуда, потому что он, как и многие другие, ничего про себя не знает, никаких интересов не имеет.

А раз это все равно, на кого учиться и где потом работать, то лучше и подождать годок-другой, как, например, тот же Аксель: притерся он к заводу, где автоматы делают, стал слесарем-сборщиком. И не тоскует.

Глебка помнил Борин шуточный прикол насчет того, что за деньги, спрятанные в огороде, ему и так диплом приобрести не проблема, только выйди в институт. Но даже и при этом условии он ничегошеньки про себя не знал: какой диплом, какого такого института... А Бори нет...

— Погодите, погодите, — просил он маму с бабушкой. Но они годить упорно не хотели. Мол, было у тебя время все правильно обдумать — сколько книг да газет прочитал, виданное ли дело, чтобы мальчонка, еще школьник, столько этой макулатуры одолел, да и компьютер есть, за интернет платят — чего ж еще!

Он не знал — чего еще, и все тут! Мыкался. Бился сам в себе, с ребятами говорил, и с одноклассниками, и с тремя погодками, и даже с Акселем. Но этот, уже оторванный возрастом, Борю ровня, а не Глебке, даже рассуждать не стал, ответил — не мудри, иди на завод, скоро все станут в России юристами да банкирами — работяг не осталось! Вали к нам!

Со своим братом-школяром Глебка вообще не стал углубляться. Если хоть в классе было какое-никакое родство перед двойками и нелюбимыми учителями, то как только это отошло во вчера, все сразу рассыпалось в прах. Каждый что-то лопотал про себя — один метил туда, другой — сюда, да все в институты, хотя Глебка-то уж претлично знал, какие из них студенты, а потом спецы выйдут.

Каждый норовил устроиться лично, только самому просунуться хоть в какой теплый уголок — ничего, их соединяющего, сразу же не осталось. А значит, и не было. И если сказать по чести — все они одиночки и никто толком не знает, чего ему надо, но только он один, Глебка, сам себе об этом смело сказал.

Остальные соврали. Все всем врут — вон что нынче! И родители ученикам, ну, и само собой, выпускники взрослым, обоврались.

Но тут этот женский жим! Все блага желают, все о нем пекутся и сильно озабочены.

За Борика вон радовались. Все ясно было. И чем кончилось?

2

Впереди грозы, особенно сильной, всесотрясающей, обязательно идет ее предчувствие. Или духота навалится, или тревожно станет, неудобно.

Точно так же надвигаются грозы душевные. Ни с того, ни с сего вдруг как-то нехорошо становится, не по себе, тягостно. Человек разумный тотчас же начинает мысленно вокруг себя озираться, обдумывать происходящее и, глядишь, хотя бы почувствует, догадается, откуда удара ждать. Но ведь иногда и ждать ясно откуда, и направление удара известно, но человек взял да и ослабился, угасил в себе остроту, называемую предчувствием, выпустил из сознания своего нечто неосозаемое, труднообъяснимое — и эту грозу пропустил.

Так и с Глебкой произошло. Уж ему ли про Хаджанова забыть — а забыл.

Да, забыл, отпустил не из обычной бытовой памяти, а из той, что сложнее, называемой сознанием или даже подсознанием.

В общем, однажды мама прибежала с работы, и глаза у нее были с маленькие чашечки. Платок сбился на затылок, она едва дышала, ноги не держали, и, припав на краешек стула, она не спросила, не удивилась, не воскликнула, а почти равнодушно сообщила, что и ударило Глебку в самый поддых.

— Сегодня Хаджанов объявил, что это ты сжег его киоски, пять или семь. Это было давно, но он закончил свое расследование. Есть свидетели. Предлагает. Или заплатить за них деньги. По две тыщи долларов за каждый. Или подписать бумаги об отказе от квартиры. Той, Маринкиной.

Глебке каждая фраза казалась булыжником. И этими булыжниками бил по голове. Он раскрывал рот, хватал воздух, намеревался что-то крикнуть, но не давал себе воли, понимая, главное — промолчать. Потом вытащил из себя слово:

— Неправда.

Стал его повторять маме. Она заплакала и высказала, может быть, самое главное:

— Ты, наверное, не понимаешь. Хаджанов у нас главное лицо. Не начальник санатория, никто. Он. И он сказал, что уволит меня. Ты понимаешь?

Сволочь! Вот оно — словечко, точное и нужное в этот миг. И гром, и молния сразу, в одном выражении. А ведь должен был он, Глебка, обязан был предчувствовать и предвидеть, откуда придет поганая гроза в его дом.

Хаджанов! Улыбчивый майор. Борин наставник и тренер, человек, решивший целую судьбу. А как он восклицал и плакал тогда, на кладбище, когда все думали, что хоронят Борю. И как можно было хоть какое обвинение предъявить ему в неискренности? Но как он строил дом, купив землю покойной Яковлевны? Как размножался бесчисленными своими земляками по всему городку? И потом эти киоски, лавочки, магазинчики! Всё как-то разом сомкнулось и закоротило в его сознании — и мамин встрепанный вид, растерянный и незащитный перед всесилием Хаджанова, и смутная собственная вина, и этот несправедливый расклад прилавков, продуктов, денег и владельцев, а еще и Борик, снова сгинувший невесть куда, и пожар, в котором дотла исчезла даже, кажется, память о нем и о его Маринке. И собственная Глебкина ненужность, незнание, чего и как делать.

— Сволочь! — ещё раз громко выдохнул он, и в этом возгласе все слилось сразу.

Он выскочил из дому, накинув курточку. В кармане лежал паспорт, на всякий случай, а в нем, под пластиковой корочкой с гербом державы, солидно тиснутым золотой фольгой, между ним и карточкой, прятались пятьсот баксов, которые Глебка предпочитал таскать с собой на всякий пожарный. Пожарных случаев, по счастью, пока не случилось, но знание, что у тебя есть деньги, если и не помогало, то укрепляло.

Глебка думал было кинуться в санаторий, но эта идея не оказалась серьезной, а значит, устойчивой. Погодки сдать его не могли, но ведь никто, кроме них, и не указал бы на него. И вот что странно — сколько месяцев назад это было? Зимой. Быльем поросло. Нет, бежать к Хаджанову — значит признаться, и вообще здесь что-то явно не то!

И Глебка двинулся к братьям. Часа полтора ушло на то, пока они соберутся к домашнему очагу, каждый из них учился по вечерам, хоть и в одном институте, но на разных курсах, а днем — уже не подрабатывали, а втяжную работу в родительском хозяйстве. Добились своего старшие Горевы — они-то теперь отдыхали, а магазином, и теперь не одним, правили сыновья. Главный, ясное дело, Петр, и из каждого получился справный управитель, то есть менеджер — в их подчинении ходило теперь десятка два-три разных помощников, от продавцов до снабженцев и грузчиков. И ничего: “Подворывають, — говорил Петр, — но терпеть можно”. Однако все-таки стеснялись они своей работы. Чаще говорили просто, что они студенты, и все. Что дальше будет — не знали. Хотя чего тут знать?

Подобрался вечер. С каждым из троих своих давних и старших друзей Глебка переговорил и вдоль и поперек — сначала с Петром, потом с Ефимом, потом до дому допылил Федька, все ведь — старше его... И суть не в том, что каждый в розницу и все оптом божились и клялись, будто ни разу и никому не проговаривались. В конце-то концов, если дело не имеет последствий и совершенно безопасно, почему бы и не прихвастнуть надежным друзьям, разделяющим твои устои? Но в том и суть, что хоть поджоги были не ахти какими, подобные шуточки, ясное дело, могли иметь и последствия — да еще какие! И, само собой, не были безопасны: Хаджанов владел если не целой армией своих земляков, то уже давным-давно немалой силой — от мальчишек вроде тех наглецов до парней в силе и в соку.

Да, они тихо и мирно работают на рынке продавцами или вежливо взвешивают гречку в магазинчике с издевательским названием “Русь”. Красавцы! Черные волосы топорщатся из распахнутых рубах, не менее волосатые руки так и играют силой, черные лакированные усы и усищи топорщатся на улыбочивых лицах. Вежливые, ничего не скажешь, образцово дисциплинированные, отличные выпускники школы Хаджанова — только сколько искренности в этой вежливости, а сколько презрения и непочтения — какой весовщик завесит?

Разобрав дело, рассказав о матери, о хаджановской угрозе, опять предупредив старших друзей, почему может быть расплата, Глебка ни с того ни с сего предложил ребятам поехать в город. Просто так, протряхнуться. В родных кварталах они всем видимы и всеми узнаваемы, а собираться вместе сейчас, может, не самый раз, не самое подходящее время.

Братья охотно согласились. Завели свою “газель” и поехали.

Что-то все-таки удивительное было в их отношении к Глебке. Школьник не то чтобы командовал тремя старшими парнями, а легко их соблазнял. Или чувствовали в нем продолжение Борика? Слегка опасались? По крайней мере, уважали...

В столице местных земель, городе, несомненно, более значительном и крупном по сравнению с Краснополянском, но все же неопрятном, обтерханном и в высшей степени поношенном за счет массовых когда-то построек из серого силикатного кирпича, выделялась собою разве что пустынная в старые времена площадь, ныне опять же обставленная по кругу фанерными разномастными киосками.

К площади этой примыкал недлинный старинный бульвар с вековыми липами и проходной аллеей посередине, где и происходило главное человеческое оживление. Когда-то вдоль бульвара, с обеих сторон, двигался транспорт, но теперь машины тут не ходили, и ничто не стало мешать пешеходам шляться как по бульвару, так и по двум асфальтированным, хотя и нешироким проездам, да еще же и по двум как раз широким тротуарам — так что народу тут всегда пребывало множество. На тротуары вышло столики разнообразных кофеен и ресторанчиков с тентами, с зонтиками, с белыми заборчиками, а еще множество, один за другим, было тут торговых сооружений, не то чтобы, конечно, столичные бутики, но уподобляющиеся им заведенийца.

Глеб разменял сотняшку — здесь в обменниках девицы даже головы не поднимали, просвечивали купюры синим светом, выкидывали деньги, чек, поддельно торопясь, хотя торопиться ровным счетом было некуда, не то что во времена слухов и паник.

Присели в уличной кафешке, он заказал по бокалу колы со льдом и пластиковой соломинкой. Кайфовали вчетвером за железным квадратным столиком на железных же, в белый цвет покрашенных стульчиках. Жестко, неудобно, но славно почему-то, хорошо, потому как непривычно и празднично.

Ни говорить, ни думать про Хаджанова, про зимние дела не хотелось, вообще ничего не хотелось, вот только так сидеть, помалкивать, почмокивать, балдеть, таращиться по сторонам — на чужих девчонок, идущих мимо, на мужчин, на женщин с сумками и пакетами, которые семенят мимо, идут, чего-то где-то накупив на этом коротком торговом бульваре. Как будто с ума люди походили — все возбуждены, сосредоточены, взвинчены — или наоборот, плетутся расслабленно, будто достигли счастья — радости, удачи, утех. А всего и делов-то — покупку либо задумали, либо уже совершили. Кофту там, например, или туфли. Можно подумать, без этого жизнь остановится, обломится, бессмысленной станет... Одно слово — рынок!

Меценат Глебка заказал еще по бокалу колы, велел кинуть туда по дольке лимончика. Малолетка-официантка, наверное, лет пятнадцати, все исполнила беспрекословно.

— Помните, парни, — спросил Глебка, и радуясь и печальясь, — как мы у вас в детстве на бревнышках вот так же сидели? И вы нас с Бориком, и с Акселем, и с Витьком Головастиком этой заразой в банках досыта угощали?

Выросшие, возмужавшие братишки загадливо возбужденно, принялись спорить, когда было лучше — тогда или сейчас. Пришли к выводу: “Сейчас!” Тут все-таки лед, соломинка и лимон. Глеб не согласился.

— Тогда Борик был, таким, как я, — не согласился Глеб. — Тогда было лучше!

Парни, почти мужчины, сочувственно закивали.

— И еще была наша деревня Горево, — добавил Глебка, — город ее еще не сожрал. Ну, и народу столько вокруг не было, — кивнул на шныряющих, бегущих, стоящих, движущихся людей разного возраста.

— Там это там, — многозначительно произнес Ефим. — Тогда это тогда. А тут это тут.

— Точно, — восторнулся старший брат Петя. — И здесь это здесь.

Наконец-то расхохотались.

4

Все, что произошло дальше, потом казалось Глебу эпизодом кино съемки — он видел похожее по телику: стремительно и непонятно.

Впрочем, это можно было бы сравнить и со стихийным бедствием, вроде обвала, только не в горах каких-нибудь, а прямо среди людей, в городе, на площади, ярко освещенной фонарями.

Они вышли с бульвара на площадь, довольно пустынную, по крайней мере в сравнении с торговой улицей, и пошли по ее краю — просто так, не спеша.

Сзади послышался топот, какие-то вскрики, они обернулись и увидели, как прямо на них несется человек пятнадцать одетых в черное людей.

Именно это запомнилось вначале — одетых во все черное. Они гнались за двумя людьми такого же примерно роста. Двое что-то гортанно вскрикивали время от времени, а черные молча гнались за ними. Вся эта свора выскочила с торгового бульвара, скорее всего, из ресторана, который сиял иллюминацией прямо на углу площади. Оттуда раздался крик, шум, свист, что-то замелькало синим — это вспыхивали проблесковые маяки вылетевших на площадь милицейских патрульных машин. Черные, вместо того чтобы разбежаться, стали лупить тех двоих. Тогда только Глеб немного разглядел драчунов — они были еще и бритыми. Скинхеды!

Били они каких-то неизвестных хотя и кулаками, не палками, не говоря уж об оружии, но лупили зло, без жалости, с какой-то непонятной яростью.

Минуты через три только Глеб услышал, как звал его издали старший, Петр:

— Гле-е-ебка!

Он сообразил, что братья отбежали, дистанцировались, надо и ему отсюда убежать, и побежал, но было поздно. Из-за угла вывернули менты, причем в современных круглых касках, опять же как в кино, и скорей Глеб сам врезался в них, чем они поймали его.

Его огрели палкой сбоку, под ребро, он хотел объяснить, что совершенно ни при чем, но дыхание перехватило. Ему скрутили руки, потащили к арестантскому “газику”. Глеб слышал, как братья кричали ментам:

— Он не виноват! Мы просто шли!

— Вот мы и узнаем! Куда вы шли! — ответил хриплый голос. — Да и про вас узнаем! Ну-ка, ребята!

За ними кинулись, это Глеб скорее почувствовал, чем увидел, но парни оторвались.

Его затолкали в машину, он не рвался, не сопротивлялся, только покряхтывал. В полумраке сочувственный голос спросил:

— За что же вы их?

Глеб сказал:

— Я прохожий, я ни при чем.

— Зачем же тогда бежал? — усмехнулись ему в ответ.

Потом дверка несколько раз открывалась, и в машину запикивали черных и бритых. Вернее, стриженных. Они были как угорелые. Орали:

— Привет, Вовка!

— Россия, вперед!

— Не отдадим черножопым русских девок!

— Эх, пацаны, — сказал им при тусклом свете немолодой мент. — Да эти ваши девки сами вас отдадут.

— Не смейся, дядя! — крикнул отчаянный мальчишечий дискантик. — Вы отдали, мы вернем!

Время как-то спрессовалось, превратилось не в минуты, а в блоки. В первом блоке вокруг Глебки кричали, матюгались черноодевшие бритоголовы, возбужденные так, будто наширялись наркотой. Все они, понятное дело, знали друг друга и возбужденно переговаривались о чем-то понятном только им, однако из этих пустопорожних, в общем, восклицаний следовало, что они “дали”, что “отмылили”, даже за что-то отомстили, и наперебой очень хвалили друг дружку за смелость и отвагу.

Среди них был и старший, к нему обращались чаще и его звали Влас, наверное, командир. Лампочка, защищенная сеткой, светила кое-как, и Глеб не мог разглядеть лиц этих мальчишек, но сосчитать-то вполне: кроме него, тут помещалось пятеро.

Пятеро возбужденных бойцов его, шестого, так и не заметили. Это был первый блок.

Во втором их всех, одного за другим, провели от дверцы машины к грязной заплыванной лестнице, потом еще через сколько-то шагов засунули в клетку — из того же телика он знал, что она называется “обезьянник”. Перед тем как толкнуть туда, каждого обыскали. На всех шестерых был один изъятый предмет — Глебкин паспорт с деньгами. Остальные оказались пус-

ты вчистую: ни монетки, ни завалящей какой-нибудь скрепки или хоть автобусного билета.

От машины к “обезьяннику” их вели по два мента, значит, на шестерых двенадцать человек, явный перебор, и все эти мужики столпились перед барьером, за которым сидел дежурный капитан, гомонили возбужденно, победные интонации слышались в голосах, будто они банду убийц скрутили и привезли или до ушей вооруженную шайку, а не мальчишек школьного возраста.

В этом разногосье Глебка попробовал сказать капитану, что его схватили невзначай, он просто стоял на площади, и вот его паспорт, и тогда капитан крикнул:

— Кто брал этого? — Раскрыл документ. — Горева?

Никто не откликнулся.

— Я просто прохожий! — повторил Глеб.

— Следуй в камеру, разберемся.

Менты, на минуту утихшие, загомонили снова, и Глеб услышал, как кто-то из них сказал:

— Там, наверное, остались! Задержавшие этого!

В “обезьяннике” было, конечно, получше, чем в машине, по крайней мере, светло, а к стенам приделаны широкие скамьи, чтобы можно ночью лежать. Глебка огляделся. Это был второй блок.

Все, что случилось, казалось абсурдом, а он все-таки верил в справедливость.

— Вот те на! — проговорил, наконец, парень по имени Влас. — Гляньте, пацаны, с нами попалась случайная птаха!

Он не издевался, не ерничал, наоборот, сочувствовал. Протянул руку:

— Я Влас. А ты?

Глеб назвал, вздохнув, рассказал, как было дело, и эти пятеро недружно рассмеялись. Похоже, здесь, в “обезьяннике”, их спесь и боевой дух быстро, на глазах, испарялись. В речах зазвучала неуверенность. Трое из пятерых отводили взоры в сторону, зевали, жмурились, примолкали. Только Влас разговаривал, да еще один высокий и чернявый по кличке Воронок. Похоже, Влас сразу ощутил падение духа своих бойцов, пытался их оживить и выбрал для этого разговор с Глебкой.

Выяснив случайность его залёта, он не этим, похоже, вдохновлялся, а тем, что Глеб казался спокойным, не нервничал, был уверен в том, что всё обойдется. Это и так следовало — обойдется. Но Влас своих возбуждал:

— Глядите, пацан с нами залетел! Вот видите! Разве есть справедливость? У нас-то ничего с собой, а у него паспорт, и все равно его виноваты. Глядите! Приучайтесь! Думайте!

Глебка спросил:

— За что же вы двоих-то? Целой толпой?

— О-о! — глубокомысленно протянул Влас. — Это долгая история! Обнаглели совсем эти черножопые!

— Да чего там, — вздернулся Воронок, — она же сама, сучонка!

Трое длинноногих завздохали, заворочались, и Влас махнул рукой:

— В общем, у нашего дружка невесту насильничал. Совратил. Отбил... Один из этих. Да и вообще, ты видишь, что творится? И твой Краснополянск уже переименовать пора. Знаешь как? — Он засмеялся. — В Чернополянск.

Глеб не собирался говорить тут лишнее, пусть даже этим перепуганным и, в общем, не отвратительным ребятам. Вздохнул, покивал головой.

Еще один блок.

А дальше в дежурке послышался не то чтобы шум, но оживление. Глебка узнал голоса Петра, Федора и Ефима. Сначала, перебивая друг друга, а потом, уступив место басовитому голосу старшего, троица объясняла дежурному, кто таков Глеб, что его захватили случайно, и все они вообще из другого города — Глеб учащийся, а они студенты и все трое являются свидетелями.

Менты, доставлявшие шестерик нарушителей, уже уехали, в дежурке было малоллюдно, и капитан, судя по всему, неплохой мужик, выслушав

Петра, велел им написать общую бумагу, указав все свои адреса, фамилии-отчества, а углядев, что все они братья, удивился, рассмеявшись довольно дружелюбно. Потом Глеб услышал, как, приблизившись к дежурному впри-тык, Петька что-то такое говорил ему тихим, не слышимым сюда, гулом, на что капитан удивленно воскликнул:

— Слыхал!.. — Потом прибавил: — Да ну?

Заскрипел пол, капитан приблизился к обезьяннику, задумчиво взгляделся в мальчишечьи бледные лица, безошибочно выбрал Глеба, кивнул ему.

— Ты Горев?

— Я, — встал он.

Капитан помолчал, потаптываясь. Потом неохотно, почти извиняясь, объявил:

— Придется потерпеть до утра. Нет дежурного следователя. А раз ты оказался в этой компании, велено разобраться с каждым. Что я начальству скажу, если ты уйдешь?

И без передышку спросил:

— А где твой брат?

Глебка сильно смутился. Ему и в голову не приходило, что вот так в лоб его будут про Борика спрашивать. Ответил четко:

— В отъезде.

— Ну, до утра, до утра! — сказал капитан, разворачиваясь к погодкам. — И вы поезжайте. Телефоны написали? Мобильники, или так...

И это был последний за вечер отрезок времени. Блок.

Ночь прошла без сна. Мальчишки разлеглись на лавках и заняли почти все пространство, а Глебка, когда понял, что он тут старше других, кроме, может быть, Власа, как и он, лишь сдвинулся в угол, давая меньшим пространство для отдыха.

Сны все же посещали его. Короткие и сумбурные, которых хватало, пока голова опускалась, выключаясь, а тело, прижатое к холодным прутьям, не валилось набок, и он просыпался. Конечно, он видел Бориса, но очень странного — он не мог его таким никогда знать. Боря был маленький, лет, наверное, трех, стоял перед их домом, сзади бревенчатая стена, почерневшая от многих тысяч дождей. Бориска маленький, но вполне узнаваемый. Потом было крохотное тельце птички, птенца малиновки, убитого на берегу теми мотоциклистами, — даже не ими, а грохотом их машин. Еще ему показалось лицо той блондинки в мотоциклетном шлеме — одни глаза, а не лицо. Глаза смотрели не зло, и хотя ее рот был прикрыт выступающей вперед частью шлема, было ясно, что она говорит. Но — что?

5

И сон оказался в руку. Окончательно проснулись они часов в семь, просили у капитана покурить — но этого в “обезьяннике” не полагалось. В восемь произошла пересменка, капитан ушел, ни с кем, ясное дело, не попрощавшись, — кто они для него? — и забыл, конечно, передать сменщику, тоже капитану, хоть какие-нибудь слова про Глебку. Так ему показалось.

В девять где-то за кулисами дежурки появился следователь. Даже не взглянув на сидящих в “обезьяннике”, он через дежурного, на основании коротеньких объяснений, взятых от нарушителей накануне, стал всех по очереди вызывать. А Глебку с его самым простым делом не трогал.

Команда Власа мгновенно раскололась — трое малахольных крикунов вернулись с бегающими глазками, перебирали всякую муть. Только Воронок взорвался, вернувшись. Из двух-трех его реплик стало ясно, что ищут предводителя, чтобы завести на него дело, и что эти трое слабаков хотя и не называли Власа впрямую, но о том нетрудно догадаться, если следователь не выберет его, Воронка.

— Ищет совершеннолетнего, — подвел он итог. — Чтобы навесить все-рьез. Но ведь все мы еще — ни-ни!

— Может, ты, пацан? — спросил вдруг Глебку Влас.

Глеб искренне удивился:

— А я-то при чем?

— Ну, мы на тебя покажем, а дальше долго расхлебывать будешь.

Влас усмехался. Шутка ничего себе. Не слабенькая. Глебка помотал головой, отмахиваясь, есть же свидетели, в конце концов, три взрослых брата Горевых, и они встанут, если надо, мощной стенкой, ведь и заявление их имеется.

Позвали его где-то уже к обеду. Вошел в комнату, попробовал подвинуть стул, но оборвал ногти: он был привинчен.

И сразу бросилось в голову: где-то он видел этого следователя. Где? Когда?

Был это не очень уж и молодой парень, точнее-то, конечно, мужик, в штатской, с галстуком, одежде, худощавый, лицо вытянутое, очки в оправе под золото. Пиджачок серовато-голубой, по-летнему тонкий.

Поздоровался, представился, и Глебка сразу все понял: это был тот парнишка, у речки, которого Борик когда-то толкнул с обрыва, куражась, просто так, а оказалось, у него в автокатастрофе погибли родители, и он плакал там один.

Бог ты мой, но ведь Глебка был тогда совсем малым! По всем правилам жизни он должен был забыть ту стародавнюю сцену, и начисто забыл вот до этого самого мгновения.

Он глядел на следователя вытаращенными глазами, и хотя встретил в ответ взгляд уравновешенный, даже чуточку усмешливый, понял, что и тот знает, кто он такой.

Допрос был сух, состоял из вопросов и ответов, совершенно не сложных: фамилия-имя-отчество, где зарегистрирован, проживает, работает или учится, как оказался на месте происшествия и как связан с остальными.

Следователь на Глебку не смотрел, писал, заполнял какой-то бланк, спрашивал спокойно, даже доброжелательно. Но что-то дрожало в нем, этом почти щеголе, какая-то спрятанная нотка! Может, обиды — старой и неотмщенной. Может, превосходства — вот он сидит и допрашивает. Да и вообще, он — следователь, а кто ты перед ним? И где твой отчаянный когда-то братец?

Деликатно скрипнула дверь, кто-то вошел за спиной у Глебки, и следователь встал — именно встал, а не вскочил, и вежливо произнес:

— Добрый день, Ольга Константиновна!

Глебка полуобернулся, тоже вставая, раз в комнату вошла женщина, и чуть не взорвался от полной и совершенной неожиданности.

Это была она. Мотоциклистка. Светлые, средней длины волосы, огромные голубые глаза, полные, припухлые губы и ямочки на щеках — издеваясь, можно было бы заметить, что почти полный пупсик, но это совсем не так.

Она была красива. Да просто прекрасна. Только оказалась старше. Не девушка никакая, а взрослая женщина. И одета как будто на вечеринку: вишневые туфли, вишневое же платье с тонкой ниточкой жемчуга. Что она тут делает?

А мотоциклистка медленно, вежливо поздоровавшись, обошла Глебку, который рухнул на привинченный стул, и внимательно взгляделась в него. Немножко поморщилась и улыбнулась:

— Припоминаю. Защитник земель и трав. Мальчик с оружейным маслом. Зачем оно вам?

Как кролик перед удавом, он кое-как проговорил:

— У нас в городе есть тир!

— О-о! — удивилась она. — Хаджановский, возле санатория? Только ведь он масла не получил.

Глебка даже не сразу понял, что она сказала. Будто раздела его. И смотрела на разделеного, любуясь своей работой.

— В общем, Андрей Николаевич, все тут несовершеннолетние, кроме, — она заглянула ему через плечо, — Горева Глеба Матвеевича. — Потом посмотрела Глебке в глаза и сказала совершенно невероятное: — И он бы мог. Но он ни во что не замешан. По крайней мере, во вчерашнее. Ведь так?

Это она не следака спросила, а Глебку, и он, опять как замороженный кролик, просто кивнул. Она тряхнула головой, сказала уже следователю:

— Оформляйте освобождение.

И пошла к двери. Поравнявшись с Глебом, остановилась.

— Его брат герой, Андрей Николаевич, — сказала она, обращаясь к следователю, но глядя на Глеба. — Со странной и страшной судьбой.

И опять, как тот капитан, любопытствовала:

— А где он сейчас?

Глеб потупился. Он мог ответить скоро, потому что не раз репетировал этот ответ для всех подряд. Но сейчас на него смотрела эта женщина, эта красавица, мотоциклистка, которая, оказывается, еще и следовательница, что ли, да непростая. Он встал и даже, кажется, принял стойку смиренно, как учили их на уроках физры.

— В отъезде, — сказал строго, чтобы обойтись без расспросов.

— Удач ему, — произнесла она серьезно, даже, показалось Глебке, тревожно, — и вам, защитник земель и трав. Не попадайтесь на ерунде!

Она легко рассмеялась и вышла.

Следователь встал и еще стоял некоторое время после того, как она вышла, — смотрел сквозь Глебку на дверь, а лицо его было покрыто красными пятнами. На Глеба, как на взрослого и опытного, вдруг снизошло простое понимание: да он влюблен в нее, этот Андрей Николаевич! И ему вот теперь вовсе не до Глебки, не до этой бумаги, по которой он водит гелевым роллером “Кроун”, произведенным в Корее.

Глеб сказал ему негромко:

— А какой у нее мотоцикл!

— Это не ее, а бойфренда! — ответил тот машинально, осекся, спохватился, бросил свой роллер, схватился руками за виски, не сказал, а проскрипел:

— Ну, что ты, в самом деле!

Потом подвинул Глебу бумажку с галочкой, где расписаться. Глеб чиркнул раз, и два, и три, и уже стоя, чтобы рвануть через мгновение на свободу, сказал этому молодому мужику:

— Вы извините! Тогда было детство.

Это он за речку извинился, за Борика, за их безмятежное и дурацкое прошлое.

Следователь закрыл глаза, попросил, изнемогая:

— Иди, Горев!

6

Всего-то и прошло — вечер да полдня, как Глебка в отрыве от дома прожил, а будто бы неделя проскочила, самое малое. Яркая, зарешеченная лампочка в “обезьяннике”, табачное зловоние дежурки, десятки разнотонных голосов мужицких, в разных словах и интонациях, а главное, смена чувств — от неожиданности, от возмущения, от жажды противиться до тайного страха, до понимания — захоти они, эти люди, соединенные серой формой, которая всех их делает одинаковыми, одинаково подчиненными какой-то воле, — и они с тобой запросто все что угодно сотворят.

Теперь, выбравшись на улицу, Глебка понял, что этого, затаясь, ждал. Ведь столько про такое писано и сказано — про это ментовское мастерство ломать всех и вся, но почему-то с ним ничего не произошло. Может, могли, но не захотели? Затащили чуть не волоком, перли, как каких боевиков закоренелых, а засунули в “обезьянник” и будто бы сами расслабились. Почему? Потому что попались им мальки? Детвора, с которой все равно ничего не поделаешь, а если сломаешь кому что, так греха не оберешься — ведь не ясно же совершенно, что у них за родители, родня — и это только для начала. А всякие телевизионщики, газетчики, правозащитники скандальные? Сейчас на такие чудеса напороться можно — только гляди!

А может, мельком подумал Глеб, все это разговоры. Или другое — когда враз и слишком много действует людей, они начинают себя окорачивать: всегда найдется, кто покажет на тебя, если ты даже в форме.

Все эти мысли не были глубоки и серьезны. Они как-то проскакивали в Глебке — такими пунктирами, будто красными очередями, но чем дальше он отходил от милиции, тем дальше они отставали.

Жизнь возвращалась к нему!

Во всем ее отчего-то неправдоподобном необыкновении: лето в самом цвету — в кружевах сирени, в яркой зелени тополей. А как птицы-то рады всему, хоть бы и грязенькие воробышки возле бесчисленных ларьков на улицах и автостанции — им, беднягам, и искупаться-то тут негде, но ничего! Они не унывают, молодчики, так чего же Глебке киснуть!

А самое главное — совсем взрослый Петр, совсем недавно просто Петька, который шел рядом и, сам себя перебивая, захлебываясь словами, рассказывал, как братья устроили дежурство перед ментовской частью, и сперва, оставив младших, он уехал домой, явился домой к Глебке и упрямил маму с бабушкой, чтоб не волновались, потому что они уходят в ночь. На налимов их позвали взрослые мужики в какое-то тайное местечко, и что будто бы Глеб уже там, не успел заскочить, потому что шла машина, днем они все воротятся. А потом дома поел и даже прикорнул, и последними авторейсами он с братьями разменялся — они отправились домой, старший остался.

Глебка слушал его, посмеивался, удивлялся: “Какая в этом нужда?”, странно, но никогда с ним еще такого не случалось за всю его, в общем-то, вольготную жизнь! Никогда он на стороне не ночевал, не терялся. И вот что любопытно, женщины не вострепнулись, не испугались, значит, неплоха, как нынче говорят, кредитная история. Из доверия не вышел. Бабушка только мельком спросила, будет ли есть? Что за вопрос! Будет! Еще как! И с Петром на пару.

Пока они наворачивали кислые щи, бабушка, хитровато улыбаясь, сообщила, что раза два за нынешний день сюда наведывался Хаджанов.

— И ласковый такой! Обходительный! Лис лисом! Хвостом метет! — ворчала она и всплескивала руками. Она, конечно, злилась на майора за мамины недавние расстройств. Ведь, ирод, аж выгнать с работы грозился — а вот теперь-то что?

Мельком Глеб подумал, не привязан ли хаджановский визит ко вчерашне-сегодняшнему, ведь Ольга эта красивая будто раздела Глебку, сказав, что оружейного масла майорский тир не получал. Впрочем, разве разберешь это хитрована? А ей что за дело?

Едва они из-за стола встали, без стука вошел Хаджанов. Глебка еще поразился: шагов его они не слышали, подполз аки змей. Завелся с ходу, заприговаривал, запричитал, но Глеб глядел на него строго и холодно, и тогда он осекся, поманил Глебку на улицу.

— Дело есть, разговор серьезный, один на один.

Глеб Петру сказал, что он попозже к ним заглянет, — ведь они магазины свои побросали, шутка ли, — и двинулся с Хаджановым рядом — тот повел к березовой рощице, по дороге, ведущей к речке.

Едва миновали деревню, Хаджанов резко переменялся — не частил, не суетился, не заискивал, а стал серьезным и даже важным. Они двигались не быстро, спокойно, и майор говорить начал так же, но речь его была петлиста и кривовата.

— Понимаешь, Глеб, — начал он свое сообщение, — жизнь, она и есть жизнь. Не все просто, как поначалу кажется. Много чего в глубине. В тайне, не всем известной.

Глебка заметил себе, что майор за годы, прожитые здесь, стал ещё лучше говорить по-русски.

— Вот вы два брата, — излагал человек, называющий себя майором, — а два разных человека. Один сразу поверил мне и стал героем.

— А может, покойником? — холодно проговорил Глеб.

— Погоди, дорогой, — запротестовал Хаджанов, — это мрачная история, она, слава Аллаху, давно миновала и забыта...

— Да? — удивился Глеб.

— Ну, конечно, но появились новые, — вроде даже обрадовался Гордевич, — да я же, понимаешь, поэтому тебя и искал. Новости есть! И хорошие новости.

Глеб насторожился, здесь следовало держать ушки на макушке:

— Какие?

— Мне сказали, понимаешь? Новость про Бориса.

Глебка остановился.

— Ну?

— Да-да, дорогой, вот видишь, мы же с тобой заодно. Вместе за Борика переживаем. В общем, от него весточка.

— От него или про него? — начинал злиться Глебка. — Скажите прямо.

— Сейчас вот уйдем в березки, и я скажу. А пока послушай такие мои слова. Я не знаю, где Боря. Не знаю, где Марина. Не знаю, врать не стану, живы ли они.

Они вошли в рощу и шли уже быстро и нервно, как будто, миновав ее, что-то увидят или узнают. Так и произошло. На берегу Хаджанов полез во внутренний карман пиджака, вытащил розовую бумажку и подал Глебу.

— Возьми, — сказал он, — это тебе или маме, как хотите. Только сильно не рассказывайте. Лучше совсем помолчать...

— Что это? — разглядывал Глеб листочек с вписанными на компьютере фамилией, именем, отчеством Марины.

— Ордер на ее квартиру. Дом, ты знаешь, еще не достроен, но скоро накроем крышу, к концу лета сдадим под отделку.

— Ну, а дальше-то что? — не понимал Глебка.

— Это еще не все, — опять заволновался Хаджанов и стал доставать из боковых карманов плотные пачки долларов — две из правого и две из левого. Протянул их Глебу.

— Эти деньги вносил Борик и твоя мама, помнишь?

— Еще бы не помнить.

— В общем, дана команда вернуть, понимаешь. Бери, бери, — это мне приказ. Почему не веришь?

Глеб смущенно принял деньги, глядел удивленно — ему и положить-то их некуда: в джинсы не влезут, а у легкой курточки кармашки разве для сигаретной пачки, не больше.

Хаджанов повел Глеба к краю речки, они сели. Как когда-то сидели здесь горевские мальчишки всем своим комариным воинством, свесив ноги с обрыва. Они помолчали, и, вздохнув, Хаджанов проговорил:

— А теперь слушай самое главное. Повторяю, мне неизвестно, живы ли они и где. Однако мне велено отдать деньги за квартиру. И ордер отдать. Выходит, что живы, да?

— Выходит, — согласился Глебка. И как же радостно и обнадеженно затрепыхало его сердце.

— Но мне велено сообщить тебе или твоей маме еще кое-что. Не думаю, что приятное. Хотя для меня — так это лучшая весть... Только дай слово, что примешь ее спокойно. Не психуй. В конце концов, это решение самого Бориса.

Глебка выдохнул воздух, опустил голову, как перед палачом, кивнул согласно.

— Ничего особенного. Просто он теперь наш.

— Что это значит? — не понял Глеб.

— Там, в плену, давно, понимаешь, он принял мусульманство.

Глебка вздрогнул.

— Не дергайся, — взял его за руку Хаджанов. — Ему было невыносимо трудно. Его товарища казнили у него на глазах. Тогда много было жестокости, что делать! Но некоторым предлагали: прими мусульманство, женись, живи с нами. согласишься, будешь жив, а нет... Он принял. Его зовут теперь Муслим, значит, мусульманин. А жениться он не стал и жить в горной деревне — тоже. Сбежал.

Глебка слушал, потрясенный, будто это про него говорили, а не про Борика. Он не знал, что сказать, как поступить, какими словами разговаривать дальше.

— Видишь, к нему и относятся как к своему, ты меня понял?

Глеб кивнул.

— Это не просто так, нетрудно догадаться. Значит, Борис в строю. Значит, он выполняет задания.

И тут он высказал, как выдохнул, самое главное:

— Раз ему платят зарплату, значит, он на работе. И жив!

Они сидели на берегу речки и молчали. Слушали ли они журчание воды или сухой стрекот стрекозиных крыльев? Конечно, нет.

Хаджанов продолжил, наверное, стараясь утешить Глеба:

— Тех, перед которыми он принимал веру, пожалуй, давно уже нет. Исчезли и те, кто убивал, расстреливал, издевался, я думаю. Или лица свои переменили, понимаешь? Но на умение Борика всегда есть спрос. Тайный. Невидимый. И его обязательства могут вместе с ним переходить. Совсем не к мусульманам. К кому угодно. За деньги. За большие. За страх. За жизнь, в конце концов.

Они долго молчали, и Глебка, как в полусне, думал, что делать. И не знал. Не мог сообразить.

— Я знаю, — задумчиво проговорил Хаджанов, — ты недоволен мной. И не только ты. Все думают — чего это он активничает в нашем городе. Разве нет у него своей родины? Родительского дома? Ах, милый! Всё есть. Но есть у нас еще страшное правило — кровная месть. И я бегу от этой мести. И свою родню хочу выручить. Но кому я могу об этом рассказать? Только тебе. И только потому, что мы про Борю узнали. Нет, я его не осуждаю! Я ему сочувствую и понимаю. Ты знал?

Глебка помотал головой.

— Тогда не говори бабушке и маме. И про деньги можешь не говорить. Скажи только маме, что я извиняюсь. Мол, ошибся. Но я и сам извинюсь, ты не думай.

Хаджанов посидел с Глебкой еще минут двадцать. Молча. Больше не о чем говорить. Уходя, заметил Глебу, чтобы он не забыл деньги.

Прошуршала и затихла трава под его ногами.

Глебка опрокинулся на спину.

Слезы текли из глаз и щекотали где-то возле уха.

Его не сотрясали рыдания, нет. Он лежал как будто спокойно, а в душе рушилось все-все-все...

7

Неожиданное богатство, оставленное майором, принадлежало не Глебу, а Борику по имени Муслим.

В карманы оно явно не влезало, и Глебка сунул его в рубашку, разложил над брюками, затянул пояс. Получился то ли пояс смертника, то ли патронташ. Прошел мимо дома погодков, нельзя было светиться, в огороде поработал лопатой, привычно зарыл сокровища. Вечером зашел к братьям.

Они ликовали, все еще переполненные своим подвигами у милицейского участка, историей захвата и мирного освобождения Глебки, и он, с их точки зрения, вел себя сейчас совершенно геройски. То есть на все их восклициания скромно отмалчивался, кивал или мотал головой, отделялся междометиями.

Не понимали, бедняги, что жизнь может так развернуться, когда какие-нибудь десять минут все собой способны застлать, переиначить, перевернуть. И бывшее не только главным, а просто потрясающим — впечатления, слова, события запросто стираются всего одним разговором.

Глебка перед ними сидел. И совсем не Глебка — другой. А они думали — ему все произошедшее по фигу. Так ведут себя серьезные мужики, вот что. И они думали о нем именно так, сильно ошибаясь.

Ночью Глебка долго не мог уснуть, хотя устал до изнеможения — все гудело в нем, все перемешалось, и он не мог ни за что мысленно зацепиться.

Перед тем как лечь, долго бродил по интернету и первый раз подумал, как безумно чужд ему этот заэкранный мир, где что-то сообщают, чем-то торгуют, про все подряд высказываются. Бурлит сильно, будто кипит гигант-

ский всемирный гейзер — но вот его, Глебку и Борика, который неизвестно где, все это оживление совершенно не задевает.

Весь следующий день Глеб слонялся без дела. Сидел в огороде, повесив голову, лежал на диване, опять рылся в интернете, потом, неожиданно для себя, неизвестно чем влекомый, отправился в тир Хаджанова.

Они встретились сдержанно, только кивнули друг другу, и Глеб просто присел на скамеечке, смотрел, как упражняются в стрельбе мальчишки-черныши, совсем сопляки. Правда, были среди них два-три светлоголовых краснополянца, ему неизвестных.

В какой-то момент Хаджанов сам поднес Глебке знаменитый свой чайный стаканчик с манжеткой и блюдецко с колотым сахаром, самый его высокий знак уважения. Присел рядом. Молчал, ни разу не улыбнулся. Когда Глебка допил чай, заметил вскользь:

— Правильно, что зашел. Все будет хорошо. Маленько потерпи.

Зачем он сюда пришел, Глебка бы не объяснил. Ведь все аргументы были известны. И Хаджанов ничего не добавил нового. Может, хотел убедить-ся, что ему вчерашнее не пришло?

К вечеру отправился на речку. Было, наверное, часов семь, всюю еще полыхало солнце. Он задумался, погрузился в невидимое ему существование Борика там, в плену, да и потом, когда он был рядом — руку протяни, и все-таки совсем не здесь, в тайных событиях, неведомых ни младшему брату, ни, тем более, матери — взрослая, таинственная, опасная жизнь...

Вдруг рядом, будто огромный шипящий примус — не пронесся, а пролетел нездешний мотоцикл.

Глебка пришел в себя, взгляделся — неужели! Это же машина Ольги Константиновны! Обернулся назад — следом никакой стаи сопровождения, что же, она одна? Он прибавил шагу, даже побежал. Когда выскочил на прибрежную луговину, было тихо, чисто, ясно, и в воздухе никаких признаков мотоциклетного выхлопа. Направо, налево поглядел — пусто. Уж не показалось ли?

И тут услышал совсем тоненький звук. Сначала принял его за птичий распев, потом понял — тонкий плач. Догадался, подбежал к берегу, куда сходила забытая дорога, и увидел, что в неглубокой их речушке лежит на боку полутопленный шикарный мотоцикл, а на его модном блестящем багажнике, неудобно пристроившись, скинув шлем, а ноги опустив в воду, сидит красавица следовательница и плачет.

Глебка, не снимая кроссовок, кинулся к ней, дотронулся до плеча, воскликнул:

— Да вы не плачьте! Ерунда! Сейчас вытащим!

Ольга взглянула на него как на пришельца, даже отдернулась — но это был лишь миг. Пораженно проговорила:

— Опять ты, мальчик?

Слезла со своего облучка. Они с трудом подняли мотоцикл и с надрывом — тяжеленная все-таки тачка — поперли его в крутой подъем.

Наконец-то проснулось в Глебке всё — вся его уже недетская энергия, новая, совсем мужицкая сила. Он пер эту тяжелую чушку вперед и вверх, сильно напрягаясь ногами, пихая плечом, а Ольга скорее только держала руль, правила им. И вот — они выбрались на противоположный берег.

С мотоцикла текло, и с красавицы тоже — она походила теперь на не очень молодую курицу. Он поглядел на свою мечту, представил со стороны и самого себя, и вдруг радостно, освобожденно расхохотался. И Ольга Константиновна засмеялась. Ольга.

“Вот дурочка, — подумал о ней Глебка вполне снисходительно, — и чего реветь-то было! Встань да дойди до деревни, ведь начальница милицейская!”

Тут же сообразил: “А может, не из-за мотоцикла плакала, и он — только повод?”

И все-таки они хохотали. Она спросила, успокаиваясь:

— Ну, и что теперь дальше? Я-то сухая, мои кожаные штаны влагу не пропускают, есть специальная подкладка. Только ноги. А ты совершенно мокрехонек.

— Тоже ноги! — воскликнул Глеб. — Остальное — ерунда. Лето ведь! Они сняли обувь — он легкие свои кроссовки, она тяжелые мотоциклетные боты, выжали носки. Ольга его оглушила:

— Хочешь прокатиться? Ведь это моя прощальная прогулка.

— Почему? — удивился Глебка.

— Да потому, что прощаюсь я со своим Росинантом. Возвращаю его в стойло хозяина. Ты знаешь, кто такой Росинант?

Нет, не мало начитал Глебка за свои школьные годы, а этого почему-то не знал.

— Конь Дон-Кихота! А кто такой Дон-Кихот?

Глебка подергал плечами, мол, слышал, да что-то в данный момент призабыл. Ольга не удивилась, выразилась странно:

— Может быть, это ты! Понимаешь?

Глебка не понимал.

— Ну, со временем, — туманно прибавила, улыбаясь. — Так прокатимся? А то вдруг я опять куда-нибудь залечу! В речку или прямо в трясину!

— Здесь трясина нет, — сказал Глеб, опять не очень понимая, — дуга да поля!

— Вот и хорошо.

Она подошла к мотоциклу, что-то там нажала, будто была совершенно в нем уверена, и он, действительно, чихнув, выплюнув немного брызг из выхлопной трубы, зарокотал, зашипел, заработал, как будто самолет, готовый к взлету.

— Садись, — велела Ольга, надевая каску, и они тронулись. Сначала как-то неуверенно, нескоро, будто пробуя свои силы, потом приемисто рванув.

Они летели едва видимой в траве тропой, пунктиром, по которому Глебка когда-то вместе с Бориком шли, засучив штаны, — по луговине, усыпанной добрыми цветами, от одной березовой куртины к другой.

Воздух забивал легкие своими пряными ароматами. Он был вообще-то недвижим, но мчались они, воссевшие на многосильного зверя, и это они разрывали пространство и тишину, они набивали свои легкие ветром и запахами цветущей, все терпящей и всех прощающей земли.

Сумерки облегли землю, а в пока еще светлом небе появилась первая звезда.

Наверное, ее-то и зовут Полярной, со стыдом подумал Глебка, опять, как с Дон-Кихотом, боясь осрамиться.

Но почему так радостно мчаться за спиной у этой женщины по ласковым полям, между березовыми рошицами, играя в странную и счастливую перебежку от одного леска к другому. Что он, разве не бывал здесь прежде, не хаживал тут с малых лет, сперва за спиной у брата, а потом...

Его словно шибануло: за спиной! Тогда у Борика, теперь у нее. Как хорошо за спиной, за спинами, но когда-то и ему надо стать чьей-то спиной... Или как?

Этот волшебный бреющий полет над чудными вечерними полями занял, может быть, минут сорок, или вовсе даже полчаса, а Глебке показалось — целую вечность. Они ехали уже в полутьме, и водительница включила фару, похожую на яркий глаз нездешнего циклопа, — она светила не только далеко, но еще и широко. И в этом освещенном пространстве навстречу им неслись прозрачные мотыльки, бабочки, сияющие жучки, невесомая, из одной мелькающей тени состоящая мошкара. Пронзенная яростным лучом света, вся эта крохотная живность влетала в него, ударялась в фару, в каску мотоциклистки и даже тюкала в лоб Глебку, если он высовывался слишком вбок от впереди сидящей Ольги Константиновны.

Когда они, совершив круг по полям, вновь подъехали к речке, к опасному, как выяснилось, броду, Ольга притормозила своего Росинанта, попробовала его мощь на холостом ходу — и он взревел и раз, и два, будто подтверждая, что теперь-то он не подведет, не боится, что дело только за ней.

Она крикнула себе: “Ну!”. И кинула мотоцикл в речку по крутому съезду. Железный конь взвыл, разметал в обе стороны воду, будто какой-нибудь

скоростной катер, надрываясь лишь слегка, и вынес их на другой, более пологий берег.

Ольга крикнула: “Ура!”. И выключила двигатель.

Тишина на них упала, будто молчаливый ворон. Зазвенело в ушах.

Глебка спрыгнул с мотоцикла, и Ольга сказала ему:

— Давай здесь простимся. В городе, на улице, не очень поговоришь.

Он кивнул — а что оставалось? Попроситься, как мальшу: “Тетенька, довези”?

Ольга продолжала:

— Так что прощай, мальчик. Утром уезжаю, навсегда. Я родом из Петербурга, у меня там родители. Возвращаюсь домой. Меняю профессию. Здесь ловила, там буду защищать, стану адвокатом. Кто-то должен же заступаться за таких, как ты. Ну, или как те воробьи в нашей милицейской клетке. — И она как-то горько прибавила: — Неприкаянные. Бедные дети бедных родителей.

— Слётки, — неожиданно для себя сказал Глебка.

— Кто? — не поняла она.

— Ну, знаете, птенцы слетают из гнезда, а силенок пока нет. Вот их и гробит кто попало...

— Слётки, — задумчиво повторила она и кивнула. — Верное слово.

— Их всё наш Борис охранял, этих слёток, — прибавил Глеб.

— А! Твой брат. Ну, привет ему. Сильная личность. Как он там во Франции-то? Звонит? Пишет?

Опять Глебку будто кто в поддых шарахнул. В который раз за какие-нибудь два последних дня.

— Почему во Франции? — спросил он, чувствуя, что холодеет.

— Да у нас на него запрос был. Он там гражданство получал. Теперь можно иметь двойное гражданство, понимаешь? Консульские запросы, то-сё, обычное дело. Подтвердили его геройское прошлое. Пстой! А ты что, не знаешь?

Глеб молчал. Надо остановиться и подумать, что ответить. Но все-таки сломался, это же была Ольга. Покачал головой.

— Не проблема, — успокоила она, — наверное, не хочет тревожить, пока дело не решено. А служит он во Французском легионе! Это-то, надеюсь, знаешь?

Глебка кивнул, замороженный.

— Поразительная история! — воскликнула она, заводя мотоцикл. — Прощай, Глеб! Вернее, до свидания! Гладишь, когда-нибудь и где-нибудь!

Она поддала газу и исчезла. А Глебка как стоял, так и сел в траву.

Борик во Французском легионе!

8

Он домой не шел, а бежал, и готов был прямо с порога крикнуть, что Борис жив, что его эвон куда занесло! Как это получилось — не известно, но он жив, и это самое главное, пусть даже он называется тайно Муслим, что значит мусульманин.

“Он жив, он жив”, — толклось в голове у Глеба, но, переступив порог, он все-таки ничего не сказал. Дома было тихо, ясно, обыкновенно, мама и бабушка о чем-то переговаривались негромко, жили своей, привычной жизнью, ровно и просто. Так ровно тикают часы, и пока они идут, никто ничего не замечает. Все спохватываются, когда наступает полная тишина.

Глебка поел, уселся за компьютер, без труда нашел сайт про Французский иностранный легион. Вывел текст на бумагу, уселся под лампочку конспектировать.

Надо же, этот легион был образован в 1831 году! Еще годков двадцать, и вот он, юбилей — 200 лет, ничего себе! Удивился, что так легко туда попасть можно — взять туристическую путевку в Париж, там “сдаться”, как они говорят, и переехать куда-то под Марсель. Трудно испытания проходить, всякие тесты, а три километра надо пробежать за 12 минут. Интересно, за сколько он сегодня свой километр отмахал, всего-то один? Надо бы трени-

роваться, в любом случае не помешает. А как это звучит: “Легион — моя семья”, девиз для тамошних бойцов! И как, поглядеть бы, выглядит топор и фартук грубой кожи почему-то оранжевого цвета — их дают тем, кого зовут пионерами, и кто отслужил там аж 25 лет! Но попробуй-ка!

Глеб читал и перечитывал странички, подчеркивал карандашом интересные места и все к себе примерял, между прочим, не к Борику — он-то справится! А я, если что? Да что я, куда там — для всех таких подвигов надо же в армии отслужить, это самое малое, а у него плоскостопие — вот и все...

Утром он поехал в большой город. Думал, не позвать ли погодков, но потом переиначил. Ведь он хотел увидеть этого Власа или хотя бы мальчишек, сидевших с ним в “обезьяннике”. Что с ними стало? Их, конечно, выпустили, он не сомневался. Ведь они несовершеннолетние. Но за хулиганку и их судят, отправляют в колонии для такой братвы. Кто их защитит? Как поведет это дело следователь?

Он опять устроился в той самой кафешке, все та же малолетняя официантка принесла ему бокал с кока-колой, льдом и соломинкой. Все так же гомонил, двигался народ по бульвару.

Глеб не знал, где и как разыскать бритых, то есть — стриженных. Это тогда, вечером, они все вырядились в черное, какую-то выдуманную играли роль, а сейчас? По улице прошли двое пацанов такого стиля, с какими-то цацками в ушах и одетые как клоуны, в цветастые рубахи — нет, не похоже, что скины.

Он просидел почти час, выпил две колы, и тут в голову пришла дерзкая мысль: а что, если?.. Он даже взорел от собственной отваги, сердце заколотилось. Расплатился, встал и пошел в ту самую милицию, где провел необычную ночь. Ноги сами вели по не очень счастливой дорожке, зато как он шел! Будто человек, спешащий по важному делу. Например, какой-нибудь практикант из милицейского училища.

Он даже через ступеньку перепрыгивал, в дежурку поднимаясь. На вахте — повезло! — был тот самый капитан, и он его сразу признал, ментовская душа.

— А, — сказал, не удивившись, — брат героя! По какому случаю?

— Здесь Андрей Николаевич, товарищ капитан? — вежливо произнес Глебка.

— Здесь, — запросто и не чинясь ответил капитан, — номер кабинета помнишь? Давай!

Глеб вошел в коридор, идущий от дежурки, нашел нужную дверь, постучал и заглянул.

Андрей Николаевич воззрился на него, как на восьмое чудо света, даже рот приоткрыл:

— Ты, Горев? И какая нелегкая... — он осекся.

— Легкая, Андрей Николаевич. Можно?

— Заходи, — он кивнул на привинченный железный стул, и Глебка опять его пошатал — бояться, что этим сидением да по голове? Улыбнулся.

— Андрей Николаевич, — спросил Глебка, утишая дыхание, — извините, что я вас лично спросить надумал. Я же школу закончил, и ничего мне в голову не идет. Вот я и хотел спросить: вы юридический институт закончили или что-нибудь специальное, милицейское?

Тот усмехнулся. Проговорил:

— Да уж! Когда ничего в голову не идет, вспоминают про милицию.

— Вы извините.

— Да чего там, — он достал сигарету, закурил, пустил в сторону струю дыма. — И я тоже так рассудил когда-то. И вот сижу тут, пишу эти несчастные бумажки, разбираюсь с мальчишками вроде тебя.

— Все мужчины были когда-то мальчишками, — приобиделся Глеб, не собираясь задираться.

— Ты прав, извини.

— А что с теми, с другими? — спросил нахально Глеб, ведь, может, тут есть какая-нибудь следственная тайна или еще что? Но следователь не рассердился, сказал обычным голосом:

— Пострадавшие отказались писать жалобу.

Глеб спросил:

— Это скинхеды? Я читал про них в интернете.

Андрей Николаевич посмотрел в окно, повернувшись на своем кресле-вертушке.

— Да вот сижу и думаю как раз на эту тему. То, что группа — это факт, то, что организованная — доказательств нет. Пока не скинхеды, хотя рядятся под них. Но могут ими стать. Скорее всего, станут.

Он погасил сигарету, встал, давая понять, что пора Глебу выметаться, а ему идти, может быть, на обед.

— Вот давай, поступай в Высшую школу милиции. Пока закончишь, они уже оформятся окончательно. Не они, так их братишки. Будешь их ловить. Писать тома показаний. Передавать их в суд. Сажать! Сладость, а не служба! Зато погоны дадут. И пистолет в карман!

Он засмеялся. А Глебка понял: над собой издевается.

Встал, отошел к двери, взялся за ручку. Сказал:

— А нельзя адрес этого Власа узнать? Может, просто с ними... Как-то надо?

— Лесная, 3, барак послевоенный, и этих скинов там, как клопов! — весело воскликнул Андрей Николаевич. — Давай! Их еще и возглавить можно! От нечего-то делать!

Опять засмеялся. И Глеб ему тем же ответил. А выйдя, понял, что следователь над ним деликатно измывался. Получалось, ни на что он не годился. Куда там — Высшая школа милиции, если в аттестате почти одни тройки! И какой из него предводитель шпаны? Все это шутейские речи!

Сначала он двигался быстрым шагом, потом замедлился, пришел опять к полюбившейся кафешке, сел за тот же железный столик. Вышла всё та же девочка-официантка, заплаканная, неустроенная, как он сам. Ему её стало жалко, и он сделал заказ, обращался к ней на “вы”, хотя и вчера, и утром грубовато тыкал.

Она улыбнулась, ушла, а когда вернулась с подносом и колодой, кто-то её окликнул:

— Натка!

Надо же! Это был Влас. Он уселся рядом с Глебкой, пожал ему руку, не оборачиваясь, указал большим пальцем на официантку и пояснил:

— Моя сеструха.

Та принесла колы и ему. Они сидели, кайфовали, и Влас негромко рассказывал, что старшие их братья и даже некоторые отцы в ночь, пока пацаны сидели в “обезьяннике”, разыскали тех двух южных парней и предложили им свои заявления забрать. Там и правда причиной была девчонка. Её тоже как следует предупредили — точнее, её взрослую родню.

Странно: еще час назад Глебка сам искал Власа, чтобы узнать, что и как. А сейчас слушал его без всякого интереса. Все это чепуха, думал про себя. Вспоминал Хаджанова, их последнюю встречу, его признание про кровную южную месть. Про то, как глупо подожгли они зимой три фанерных ларька, вместо которых выросли десятки новых.

Еще он думал про брата. Про то, что было с ним в неизвестных горах, когда сопротивляться бесполезно, даже если ты суперстрелок, — и, может быть, поэтому прежде всего. И где приходилось выбирать между пусть даже худой, но жизнью и совершенно бесславной, никому не известной смертью.

Странные весы.

Выбрать, конечно, можно, как святой солдат Евгений Родионов, во имя которого даже часовню поставили. Но не все такие. Хотя ведь не значит — предатели. Или значит?

Что-то Глебку развезло от этих рассуждений. Он плохо слышал Власа, хорошего, видать, и в чем-то непонятном убежденного паренька, а жалел его несовершеннолетнюю сестрёнку и дал ей чаевые — сто рублей, много, видать, для этого слабоприбыльного питейного заведения, раз она так очастливленно улыбнулась.

Жалкой сотенки хватило для жалкой же, но все-таки улыбки. Он пожал ей руку, кивнул Власу, хотя надо было сделать все наоборот. Заметил, что связь установлена, и они еще увидятся.

9

Автобус был не полон. Глеб сидел, снова погружившись в неясные мысли — какие-то их клочки приходили и исчезали. Например, вышел из тьмы этот Андрей Николаевич, перед которым они с Бориком все-таки по-прежнему виноваты, и надо, обязательно надо будет найти какой-то хороший мужской повод с ним поговорить и как следует перед ним извиниться.

Налетела картинка из не такой уж давней дали: они с мамой растаскивают железки, уцелевшие от Маринкиного скарба. Еще теплится земля, и боль скребет под лопаткой, недоумение, куда же и как делись Марина и Боря.

Потом мысль про Борика, про это вчерашнее вечернее чудо, когда оказалось, что кому-то известно, где он, — эту тайну, пока не раскрою, он и вез домой, чтобы — что? Сказать маме и бабушке? Но, может, надо набраться железных сил и перетерпеть молча: пусть все само собой прояснится, без подсказок. К тому же Ольга, пардон, Ольга Константиновна уехала, исчезла совсем, на кого ссылаться, если ничего не подтвердится?

В родном городке, где каждый кирпичик известен, Глебка шел неспешно и с каким-то странным чувством ожидания.

Но что его может тут ждать?

Мама, бабушка, родной дом, это — да, ну, конечно.

А все остальное так непонятно. И никак не выходит у него врубиться и хоть что-нибудь понять про себя, родимого. Живет на то, что Борис отдал, и все! Но дальше? Что дальше-то? Как? Зачем?

Какая-то выпала смута ему на душе и полная душевная неприкаянность.

Непонятно, из каких взрослых сундуков, чужих к тому же, вылезло в памяти вдруг совершенно не употребляемое им прежде слово: неприкаянность. Смута душевная...

Впрочем, всякий человек, даже не шибко образованный, много чего всякого слышит и для себя незаметно в себя же складывает, чтобы потом, в один нужный момент, вполне таинственный, вынуть это слово и это знание и употребить его или хотя бы о нем подумать.

Был он, в сущности, еще мальчик, но уже приблизился к черте семнадцатилетия, и очень требовалось ему, чтобы кто-то сказал: иди сюда или вот сюда и делай то или это. Ты нужен.

Ты очень нужен, потому что рожден для этого, и это, между прочим, великая тайна. Иди сюда и делай это, ты призван к жизни ради того, чтобы отыскать свое назначение, состояться как человек, как работник и как продолжатель рода.

Вот и все, что требовалось Глебке.

Но никто ему этого не говорил. Он ничего не знал про себя, неприкаянный человек.

И сколько таких вокруг, думал он. Вот эта Натка, например, официантка в кафешке, бедная душа! А ее брат Влас, выдумывающий какие-то недетские свары? А Петя, Федя и Ефим, братья-погодки, не желающие торговать в магазинчиках собственных родителей, но ведь вынужденные же принять это странное и нелюбимое ими наследство?

А Борик! Да может, он-то самый неприкаянный из всех — стать мастером стрельбы, воевать, а значит — убивать кого-то, попасть в плен и даже быть похороненным, а потом исчезнуть, бежать от какого-то страха, от чьей-то, наверное, мести? Да и Хаджанов! Это только кажется, что у него все в порядке и денег полно!

Может быть, только Ольга — Ольга Константиновна — знает, что делать и как жить? Она же сказала: защищать. Не ловить, не сажать, а защищать. Вот это — да. В этом есть смысл, и не какой-то практический, а совсем другой, наверное, Божеский, только она об этом даже не думает, похоже.

Глеб пришел домой. Поел, поговорил с женщинами, включился в интернет. Нашел Дон-Кихота, рыцаря Печального Образа, прочитал про Росинанта, сказал себе, что завтра пойдет в библиотеку, возьмет роман великого Сервантеса и не встанет с дивана, пока не прочитает.

Какая, оказывается, стыдобушка не знать “Дон Кихота”, это даже из скудных строк интернета ясно, хотя в школе о нем не было ни полслова!

10

Стемнело. Глебка ползал по интернету, женщины смотрели телевизор, у каждого свое, по привычке, занятие.

Глебка не сразу услышал звонок мобильного. Звонил он редко, парням-мужикам Глеб номер свой, конечно, не дал, но ведь они живут рядом, и так поговорить можно. Лишь иногда употреблял Глебка свой телефон — в одну сторону, по какому-нибудь неотложному делу. Или мама звонила с работы, чаще всего просила встретить, если несла сумки с покупками, а так и она небольшая была любительница тарабанить по телефону. Старые привычки, они надежнее.

И вдруг мобильник затренькал. Негромко, приглушенно, будто стесняясь беспокоить. И Глебка услышал не сразу.

Не понимая, кто бы это мог быть, заранее не слишком довольный ненужным беспокойством, он нажал кнопку, поднес аппарат к уху. Сказал:

— Слушаю.

— Глебка! — позвал его кто-то издали хриловатым голосом, и все в нем оборвалось. — Глебка!

И это был голос Борика. Как тогда! Когда он позвонил последний раз из плена!

— Глебка, — сказал издали родной голос и спросил: — Ты узнаешь меня?

— Да! — крикнул Глеб, вставая.

— Не клади трубку, — велел Борик издали.

— Да, — сказал Глеб.

— Иди к двери!

И Глеб пошел. Краем глаза он видел, как бабушка и мама тоже приподнимаются вслед за ним, будто поняв, что должно произойти что-то очень важное. И, конечно, страшное. Потому что только от страха, даже от ужаса, человек без пяти минут семнадцати лет вдруг бледнеет и на лбу у него начинает серебриться потный бисер, шагает медленно, одеревеневшими ногами к двери, в одной руке телефон, прижатый к уху, а вторая протянута вперед — будто он движется к мине замедленного действия. К взрыву, который неизбежен, к беде, которую не отвести.

— Идешь? — спросил Борис из далеких далей.

— Да, — ответил Глебка. Он только этим кратким словом пользовался.

И от этого становилось страшно женщинам. А сам он уже давно заледенел.

— Подошел? — спросил Борик.

— Да.

— Теперь тихонько толкни дверь! Очень тихонько! Потом распахни ее пошире.

Глебка отворил дверь, и перед всеми перед ними в полумраке сеней оказалась Марина.

Она стояла в черном и длинном платье.

На голове ее был по-крестьянски повязанный простой черный же платок. В руках она держала большой белый сверток. И протягивала его вперед, через порог.

Будто из полутьмы неясной жизни, к свету и теплу она протягивала им дитя.

Глебка рванулся вперед, скинув телефон в карман.

Он схватил сверток, будто самую долгожданную братову весть.

Потом отступил назад, внося его на вытянутых руках.

Сразу же, без всяких пояснений, явилась ему картина: он несет на спине маленького человечка, подпрыгивает и даже ржет, подражая коню, как когда-то Борик, и скачет в старый парк, где по весне на землю садятся неумелые слётки.

И вдруг до смешного ясной предстала ему его собственная грядущая жизнь.

Он просто станет защищать таких вот детей. Вот этого малыша, например, которого принял на руки, — есть ли такая профессия? Ведь должен же кто-то надежный и верный спасать и сохранять слабых и малых! Сказала же Ольга: не ловить, а защищать!

11

Эй, жадные вороны, кошки и собаки, глупые мальчишки и пьяная нечисть! Брысь! Отойдите от птенцов.

Они взлетят сами, поднимутся на крыло, только надо подождать немного. Набраться терпения.

Не полениться — охранить их и убереечь, они же беззащитны, точно малые дети.

А вы, малые дети, не бойтесь! Ведь каждый из вас вырастет за чьей-то спиной.

12

Если бы, если бы, если бы...